СОВРЕМЕННИК



ИВАН БАСАРГИН

АКИМЫЧ — ТАЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

НОВИНКИ «СОВРЕМЕННИКА»

Иван Басаргин

Акимыч — таежный человек




НОВИНКИ СОВРЕМЕННИКА

Иван Басаргин

Акимыч — таежный человек

Повесть и рассказы

Р2
Б27

«Сказ о черном дьяволе», первая повесть писателя-таежника Ивана Басаргина, заслужила хорошую оценку читателей и критики. В новой книге автор остается верным своей теме. Просто, с неподдельной заботой пишет он о четвероногих жителях тайги, о первозданной красоте дальневосточных лесов, о живых родниках, о дружбе людей с животными... Все это пришло к Ивану Басаргину из детства, от кряжистых лесосплавщиков, немногословных добытчиков золота, от искателей женьшеня, с которыми на разнотропье жизни свела автора судьба.

Иван Басаргин не только певец природы, он ее активный заступник. Где раздумчивым авторским монологом, где крепким словом своих героев он борется против «дурного» обживания тайги. Смысл таких рассказов — предупредить людей о надвигающемся оскудении родной земли.

Автора этой книги волнует и рачительность таежника, и материальная суть проникновения человека в природу. Ему дорога тайга, как часть общенациональной красоты родной земли. Раздумья о будущем животного мира и наших лесов, вплетаясь в сюжет произведений, образуют поэтический фон всей книги, становятся главной темой в творчестве Ивана Басаргина.

7-3-2
1Р—72

«Современник»
Москва — 1972

Акимыч — таежный человек

Повесть в новеллах



Слово о друге

Люди тайги... Сколько я с ними троп прошел, костров сжег, сколько раз мерз под студеными ветрами, мок под ливнями, кусок хлеба делил пополам. Я учился у них верить в счастье, искать доброту, доброту таежиую, широкую. Пытался разобраться в их путанице душевной, раскрыть то, что скрыто от меня, докопаться до истины, познать их тайну бытия.

Среди моих друзей Акимыч был Антеем. Он брал силу от матери-земли, потому что сам был земной, по-земному мудрый. У земли и людей учился мудрости. Акимыч шел по земле как хозяин, рачительный и человечный.

Годы летят, мелькают верстовыми столбами за окнами. Акимыч все дальше и дальше уходит от меня, а думы его, как ни странно, становятся все ближе и яснее мне. Он соль жизни познавал на таежных тропах, у костров, под звездами. Говорил:

— Надо учить людей добру, жисти, учить, або мы погрязнем в суете и разучимся отличать добро от зла. В этой жисти надо найти заглавную букву, чтобы после смерти остаться человеком.

Акимыч для меня был таежным гением. От него я черпал полными ладонями мудрость житейскую. Нет Акимыча, но я не осиротел, потому что в тайге еще есть такие же Акимычи. Хотя скучаю, жалею, что не всегда прислушивался к его мудрым советам, не все взял от него. Так уж мы устроены: друг рядом — не полной меркой ценим его дружбу, не до конца любим. Когда его нет — грустим, добром вспоминаем.

Я не прощаюсь с тобой, Акимыч. Ты слышишь меня? Не прощаюсь!

Зябко на душе. Зачем такие люди умирают? Им жить бы тысячу лет, сеять мудрость по земле, широко, щедро. Бывало, скажет:

— А ну, Андрюха, подшуруй костерок, чтой-то зябко на душе. Огонь все может, дажить душу согреть. Хошь знать — при огне и злодей теплеет. Только непонятственно мне, почему на земле есть злодеи? И другое не доби-

рает ум: от чего злодей не хочет признать себя худым человеком?

За дымкой прожитых лет Акимыч мне видится как кедр-великан, что задремал на вершине сопки. Смотрит снисходительно на людскую колготню, мудро улыбается в пышные усы. А ведь этот кедр, как все, был махонькой кедрушкой, которая день за днем тянулась к свету, на цыпочки вставала, чтобы скорее увидеть широту мира, познать его тайны. Познал и Акимыч жизнь. Находил силы кому-то помочь, кого-то согреть, спасти добро, хотя самому не всегда было тепло и уютно.

Дома Акимыч был обычным человеком, чаще молчал, делал то, что положено делать человеку, который живет среди людей. А вот у костров... Акимыч у костров преображался. И сеял свою мудрость, добро — налево и направо. Берите, люди!

Таежные костры — щедры и мудры. Люди около них делаются другими. Они никуда не спешат, не суетятся, не толкутся, как комарики над речкой теплыми вечерами. Все доброе, нужное спешат передать друзьям. В этом величие и сила костров, сила тайги.

— Ты скажи мне, от ча городские люди не похожи на таежных? Дажить воробьи нашенские не похожи на городских? А? — бывало, спросит Акимыч.

— Люди как люди, чего еще там. Все с одной колодки шиты.

— Знамо с одной, но другой дратвой. Тайгари добрей и чище душой, потому что всю ширь земную видят. А в городах за камнем, кирпичом недосуг на себя посмотреть, душу раскрыть. Колготня, суматоха, зависть, и где человеку думать о доброте? Да и неба-то они толком не видят, потому надо под ноги смотреть, чтобы не обтопали. Везде спешка, торопливость. Соседу плечо не подставят. Свое надо гнездышко вить... Другое понимание жисти. Нам для ча дачка-то, например? Машинешка тоже не в дело, были бы ноги здоровы. Ушел в тайгу и живи себе на приволье, пали костры, да думай, пошто земля вертится. Нам завидовать нечего. Пусть нам завидуют.

— Выходит, нам не нужны города, культура? Мы должны жить, как жили наши деды, трусцой на лошаденке за сто верст киселя хлебать? Да?

— Культура и культурность — энто штучки разные. Я не супротив городов! А супротив мельчания человеческого! Сбились в кучу дома, люди, и нет им продыху.

А ежлив ба те же дома строили по тайге, в просторе, зверя ба не трогали, человека ба научили любить тайгу, не жисть была бы — рай. Люд был ба чище и мудрее. Не долдонь, бывал я в тех городах, пригляделся ко многому. Думка есть, что грядет тако времечко, когда люд бросит те города и к нам в тайгу хлынет. Тайгу почнут беречь, как мать дитя.

— Но ведь и в городах много хороших людей, — не сдавался я.

— Рази я сказал, что все там хапуги? Есть и люди. Но ты поспрашивай: откель энти люди? Да, да, поспрашивай. И выйдет на поверку, что больше половины выросла в тайге, доброту ее переняла... А потом в городе не враз узнаешь, что он сквалыга. Здесь каждый на виду. Добряка и собаки не облаивают. Так-то...

— А как ты думаешь — погубит цивилизация человека?

— Я не супротив цивилизации. Нет. Но, ежлив человек забывает, что земля его родной дом, суденышко во Вселенной; не холит, как добрый хозяин коня, то земля могет выбросить такой фортель — все полетит вверх тормашками. Мудр ли человек? В этом я сомневаюсь. Потому, как лешаку ясно, что войны никчемное дело, что ссориться друг с другом — совсем не про ча. Все можно миром порешить. А коль кто упрямится, того для порядка высечь, как раньше мы делали на сходках. Ум надыть загонять с чердака...

— Эх, Акимыч, Акимыч, тебя ни с кем не спутаешь, не смешаешь. Ты, как камень-кекур, встал у моря и стережешь землю.

...Жил Акимыч для людей. Пахал для них, сеял. Себе малую толику хлеба на пропитание оставлял. Вот я и хочу рассказать о встречах с этим дивным человеком.

Винтовка

Ветер совсем ошалел. Днем он ровно дул с северо-запада, а к ночи взбесился, вздыбил тайгу, согнул ее, заставил стонать и кряхтеть. И она, миллионолетняя, сопротивлялась. Кедры гнулись в дугу, молодые березки припадали к земле в глубоком поклоне, падали сухостоины. Вскачь неслись тучи по небу, смывали звезды, стирали луну. Жутко и знобко в такую ночь в тайге даже с другом. Я же

был один. Совсем один. Хотя нет — у меня под нарами скреблась мышка-полевка, которую я звал Поскребушкой. Она наперекор ветру скреблась и скреблась под нарами, нудила мою детскую душу. Ведь мне тогда было только двенадцать. Мало это или много? В наши дни совсем мало, а во время войны это уже много. Я был кормилец и поилец семьи. Охотник! Заглавный человек!

Я был один в тайге. А знаете ли вы, что такое одиночество? Наверное, знаете, но не каждый такое на себе испытал. Один. Тайга без конца и края. Порой хотелось закричать, расстрелять все патроны и бежать, бежать, куда тропа выведет. Но я не имел права бежать. Я был за старшего.

Жил я в старенькой, подслеповатой и кособокой избушке, которую строил еще мой дед. Она просела от старости, повыветрился мох в пазах, поэтому плохо в ней держалось тепло. Натоплю докрасна каминок — спать жарко, чуть остынет — холодище.

В ту ночь я почти не спал, топил камниок, выходил на ветер, слушал стон тайги. Натужно скрипел у зимовья старый тополь, в его дупле я хранил добытое мясо, пушнину. Жалел, что если ветер в ночь не спадет, то день пропадет зря, белка не выйдет кормиться, колонки просидят в дуплах.

Буря ворошила тайгу. Под нарами все так же что-то точила Поскребушка. Это единственное существо, с которым я мог поговорить, которому мог пожаловаться. Я давно ее приручил к себе. Приду, бывало, с охоты, а Поскребушка тут как тут. Вбежит на стол и ждет подачки. Не обижаю. Ночью она забирается мне под рубашку. Я тогда стараюсь не шевелиться, чтобы не спугнуть ее. Породнились ведь в одиночестве. Я ей говорил:

— Слышишь, Поскребушка, я хотел быть летчиком, чтобы в небе летать, а теперь уж не буду. Учиться некогда. И боюсь я тайги, Поскребушка. Ружьишко у меня плохенькое. Навалится медведь, что я буду делать? Съест. Съест, и тебе не с кем будет словом перемолвиться. Тебя тоже колонок съест...

Все было так. Дробовик у меня был плохой. Дробью еще бил мало-мальски, а вот пулями, на полста шагов не мог в пень широченный попасть. А потом, за мной вот уже неделю ходит медведь, явно — шатун. Все добрые медведи лежат в берлогах, а этот все бродит, давит кабанов, изюбров... Теперь, видно, меня надумал задавить. Один

раз подошел шагов на тридцать, но я закричал на него, и он ушел за сопку. Будь у меня винтовка, а лучше всего — берданка, я бы его давно торкнул.

И все же есть у человека предчувствие. В ту ночь я не столько томился от бури, сколько от дурного предчувствия. Будь со мной самый завалящий охотник, было бы легче, все бы словом, а где и делом помог. Просился со мной младший братишка, но мама не отпустила. В десять лет — и в тайгу?! А меня отпустила. Мне двенадцать! А потом, наши люди, если ты умеешь стрелять, если ты не плутаешь в тайге, смело отпускают детей такого возраста на охоту.

Рассвело. Ветер спал. Тайга замерла. Отряхивалась после бури, причесывалась. Я вышел на путик, проще сказать — на тропу, на которой у меня расставлены ловушки. Вот белка оставила след. Где-то рядом затаилась. Я тоже затих, знаю — первая голос подаст, себя выдаст. Есть-то хочется. Так и вышло, гуркнула на разлапистом кедре, прыгнула с сучка на сучок. Поймал ее на мушку и плавно спустил курок. Выстрел взмутил тишину, зверек дрогнул и мягко упал на снег. Бросил добычу в котомку и пошел дальше.

К каждой ловушке подбегаю с радостью, авось сидит рыжий разбойник-колонок, а быть может, и соболишко. Следы их часто вижу, но словить еще ни одного не удалось. Хитряги. Белки много — сыты. Пусто в первой, в десятой, а вот в тринадцатой — сидит колонок. Еще теплый. Утром вышел на промысел. Придавило бревно его спину, убило. Еще одного вынул из двадцатой ловушки. День не пропал зря. Два колонка дадут шестьсот граммов муки, тридцать граммов пороха, шестьдесят дроби и денег пять рублей. Есть прибавка к нашему семейному столу.

По небу лениво ползли растрепанные ветром тучи. Посмотрел на тайгу, на небо и решил еще пройти один путик. Успею, хотя уже солнце начало сваливаться к сопкам. Тайга устала, ветер устал, и я приморился. Остановился, подумал: «А не сходить ли мне к охотникам-солдатам. Они недавно поставили в Медвежьем ключе зимовье. Познакомлюсь, поговорим о житье-бытье, чаю попьем. Они про войну расскажут. Им, конечно, легче охотничать, у них боевые винтовки. Мне бы такую! Вот бы мы зажили!»

Сделал шаг в сторону зимовья военных, но тут же остановился. На меня шел медведь! Тот самый шатун, который бродил по моим следам, ломал ловушки. Шатун шел

ко мне, кособочась, потом заревел, башкой закрутил в глазах вспыхнул злобный блеск. Убьет! Видно, продремал под валежиной ночь-то, голоден, осмелел. Я сдернул с плеча ружьишко и, не целясь, выстрелил. Медведь осел, покатился с сопки, юзом проехал по льду ключика, но тут же выправился, вскочил на лапы и с ревом бросился ко мне. Я выстрелил трижды. Больше пуль не было. Свинец доставать было трудно. Весь ушел на войну. Нам, охотникам, не осталось. Я побежал. Зверь ревел, стонал, харкал кровью, но трусил за мной следом. Я бежал к зимовью военных. В свое бежать было безрассудно. Пуль нет, медведь мою избушку раскатал бы по бревнышку: такому здоровяку дело плевовое!

Я продирался через чащи, перепрыгивал через валежины... Зверь шел за мной след в след. Стрелять в него дробью было бы глупо. На зимовье я вышел точно. Дверь привалена бревном, значит, никого нет. Я отпихнул бревно руками, дернул на себя дверь и, влетев в избушку набросил на скобу крючок. Медведь с ревом хватил лапой по двери и бросился к оконцу. Я мышонком юркнул под нары и зарылся в сено. Медведь ударил лапой по оконцу, зазвенели стекла, раздалось шумное сопение. Косолапый пытался просунуть голову в проем. Но голова не пролазила. Я еще глубже зарывался в сено. Медведь рвал лапищами бревна. Зимовье дрожало. Дрожал и я. И вот под руку мне попала железина, вроде винтовочного ствола. Я дрожащей рукой ощупал железину и выхватил из-под сена винтовку. Не помню, то ли я захохотал, то ли плюнул медведю в морду, который уже просунул голову в оконный проем.

Медведь свесил лапы внутрь зимовья. А мне теперь плевать на десяток медведей! У меня в руках винтовка. Тигр не страшен, да что там тигр, лев — нипочем! Я вскинул винтовку: хрясь! хрясь! хрясь! И все в башку, в морду шатуну. В зимовье запахло порохом, кровью. Медведь дернулся и затих в проеме окна: половина туши в избушке, вторая на улице.

Я выбежал за дверь. А тут охотники спешат к зимовью с ружьями наперевес. Впереди здоровенный старшина. Подбежал ко мне, обнял и сказал:

— Ну, слава богу! Мы думали, что он уже тебя доедает! Как же ты с такой оружьей на медведя?

— А у меня не было другого. Вот ваша винтовочка выручила.

— Это скажи спасибо моей лени, хотел убрать на лабаз, но сунул под сено. Да-а-а!.. Добыл ты вахлачину! Пудов двадцать. Зимовье порушил. Еще бы чуток—и заполз бы к тебе, а там... Давайте, друзья, выдирать черта косматого из окна. Чей будешь-то?

— Андрей Гурин.

— Знавал деда и отца твоего. Славнецкие были охотники. В них пошел. Хорошо. А меня зови просто Акимычем. Тот бородач, он тоже нашенский, дядя Ипат. А этот дядя Вакула.

Мы с трудом выволокли медведя из окна, споро освежевали. Окно забили сеном, дранкой и начали готовить ужин.

— Заходил я в твою избушонку. Хлипкая! Любой шатун тебя там задерет. Сразу понял: один живешь. Завтра пребирайся к нам. Да, чуть не забыл, по левому путику снял колонка. Здоровый рыжик. Достань из котомки и приведи в дело. Как, ро́бята, примам охотника?

— Чего там, — флегматично пробасил Вакула.

— Примам, примам, погинет заздря, сами будем себя клясть.

— А с чем он будет охотничать, ить у него не ружье— самопал! — пробасил Вакула. — Может быть, дадим ему винтовку? Ить она у нас не числится. Ну, что скажешь, товарищ старшина?

— Как же можно, ить это военное оружие. А потом... Потом, ежлив дознается милиция, тогда что запоем? Нас за порты возьмут! Да и он еще малец. Выдаст нас. Пропали!..

— Чепуха! — Он человек таежный, своих не выдаст. Потом, ить он тоже воюет, чтобы свои не умерли с голодухи.

— Не можно, на войне каждая винтовка в деле.

— Знамо, в деле, а рази он ее без дела держать будет. А потом, мы ить не отдаем насовсем, на время.

— Не могу. Война! За утерянную винтовку на фронте к стенке ставят.

— Тогда мне непонятственно: ты матюгал войну, фрицев... Выходит, для близиру? Ить они, фрицы, сгубили этого мальчонку. Ему бы за партой сидеть, учить аз, буки, веди, добро, а он вот с медведями воюет, — гудел Вакула. — Знамо язык, он без костей, что хошь мели, а как до дела доходит — в кусты!..

— Спи, малыш, утро вечера мудренее, — бросил Ипат

и тоже с кряхтеньем лег на пары. — Все эти дядюшки для близира доброту кажут.

Мне всю ночь снилась винтовка, медведи, тигры. Во сне я легко добыл двух кабанов, изюбра и, вообще, шел по тайге победителем, ведь у меня в руках была винтовка. В тайге с дробовиком никто не ходит. Тайга не питерский бульвар. Проснулся, и все ушло от меня со снами — звери и винтовка. Карабин все так же стоял в углу зимовья, там, где я его поставил вечером, любовно почистив и смазав.

Старшина старательно обувался, расправлял на подошве суконную портянку, долго, с натугой натягивал унты, кряхтел, сопел, дул в пышные усищи. Затем уже обутый, вырвал клок газеты, попросил у Ипата щепотку табаку и, неумело завернув цигарку, закурил. Курил, кашлял, дым пускал в поддувало камина, потом зло бросил самокрутку на пол, затоптал ее и выругался:

— Какой дурак такую дрянь смолит? Тьфу! Медведя надыть отвезти в деревню. Пусть это будет его первым трофеем. Возчики должны приехать.

— Отвезем. Сегодня я не пойду на охоту, буду дневалить, унты надо починить. Все сполню, как прикажешь,— хмуро проворчал Вакула. — А карабин-то и право бы надо отдать малышу, пусть ба бил зверя. Ить пушнина-то стоит — пшик.

— Погоди, погоди, ты кто такой, чтобыть распоряжаться? А? Кто здесь заглавный? Я, старшина, или ты? А? Молчать! Аль я не думаю? Думаю от того и башка трещит, как с перепою. Ишь ты: отдай винтовку!

— Раньше же ты ходил у меня в подручных, аль забыл то время, как стал командером?

— Ничего не забыл. Старшина на то и рождается на свет, чтобы обо всех и обо всем думать! И вообще, я знаю что и как. А ты... Ты откель свалился на мою голову? Тебя спрашиваю, бесенка!

— Лужковский я. Сюда загнал медведь.

— Знаю, чей и откель. Знаю, кто загнал, но про ча я еще должен думать о тебе? Вон винтовка, где ее место? Она должна бить по врагу. А ежлив тебя съест другой медведь, то от этого враг будет сильнее или нет? А? Вот съел бы этот, — кивнул Акимыч на шкуру медведя, которая была распялена на стене, — разве бы я не плакал, они бы не плакали. Ить и наши дети в такой же маете живут? А? Плакали бы, все бы плакали, дажить тайга бы

стоном исходила. Я вот и счас плачу. Солдат, а плачу, сердце плачет, душа нудится! Убил бы зверь человека, большего человека, рази бы это было праведно. А почему убил, потому как война тому помеха. Человека бы убил,— по слогам проговорил Акимыч. — Должен жить этот человек аль нет? Ежлив уж честно говорить, то эта винтовка здесь зиму без дела пролежит. Она в нетях числится, списали ее. Один вахлак потерял затвор, второй дурень сжег приклад. Вакула же все это нашел уже от бросовых винтовок, которые и на сто шагов не попадали в мишень, собрал оружью, сюда приволок. А раз так, значит, мы могем себе сказать... Эта винтовка без призору, наша. Но, ежлив покажем командеру, то нам не миновать губы за сокрытие оружья. А для ча мне губа, ежлив я человек без придури. Я должен ходить по тайге и добывать для солдат мясо. Так я говорю?

— Истинно так, — кивнул лохматой головой Ипат.

— Теперь хорошо говоришь, — пробасил Вакула.

— Но к винтовке надобны патроны. Значитца, мы должны выделить те патроны из своего пая, не пулять в зверя почем здря. Явственно? Одна пуля — зверь!

— Так и будем стрелять. Вот я даю обойму из своего запаса. — Вакула порылся в сумке и достал патроны.

— Я тожить. Получай, малец! — подал мне вторую обойму Ипат. — Не хмыкай.

— Дело, но чтобыть у меня молчок и зубы на крючок. Сам всех порешу, коль кто выдаст. Ну, вот, Андрей, теперича держи хвост бодрей, получай оружью, солдатскую при этом, корми своих мальков, мать корми. Это что ни на есть самое боевое оружье. Война! Кругом война!

Я плохо понимал, что говорил усатый старшина, его друзья, но когда у меня в руках оказалась винтовка, я крепко прижал ее к груди.

Старшина пожал мне руку, поцеловал в щеку и с улыбкой заметил:

— Ошалел от радости. Пусть придет в себя, потом уж поговорим. Ишь как мало надыть человеку! Винтовка — и он на седьмом небе.

...Я ел медвежатину, но вкуса не ощущал. Я слушал охотников, но слова их не доходили до моего сознания. Главное было при мне — винтовка, которую я зажал в коленях и не хотел по совету охотников ставить ее в угол. Они же подкладывали мне самые вкусные куски мяса, бросали в чашку сухари, обнимали и радовались. Когда

мы начали выходить на охоту, я вспомнил о дробовике, но Акимыч махнул рукой и сказал:

— Пусть валяется под нарами. Эх, радость ты наша, глаза твои родниковые, хоть у тебя в руках и винтовка, но ты береги себя. Стреляй точно, не убегай от зверя. Теперича ты наш на веки вечные. Сегодня пойдем в правую Синапчу, там изюбришек погоняем.

Так мы познакомились с Акимычем, так стали друзьями.

Винтовка всю войну кормила нашу семью, даже друзей и соседей. Жили и выжили. Я выжил, а не будь той винтовки — задавил бы меня медведь.

На берегу речки

Солнце, раскалив жаркими лучами землю, скрылось за сопки. Угас зной июльского дня. В глухих распадках, над шумной речкой Фудзин, закудрявились туманы. Они легкие, зыбкие, пытались выползти на берега, но, едва тронув мягкими лапками обрывы тут же отползали назад. Не время еще выходить из берегов. Тренькали, заливались на все голоса пичуги, славили уходящий день. Высоко в небе, где еще видно было солнце, парил коршун. Счастливый купался в остывающих лучах...

Мы, утомленные рыбалкой, валко брели по галечной косе, громко бухали болотными сапожинами, гремели камнями, спешили к излюбленному таборку. Впереди, чуть сутулясь от тяжелой ноши, шел Акимыч. Стараясь идти в ногу с Акимычем, рядом шагал наш маленький друг Сережка. Следом тянулся я. Смотрел на спины друзей и грустно улыбался. Сережка только вступает в жизнь, а Акимыч уже прошел ее вдоль и поперек. Ему не страшны бури и невзгоды. Но что с того, вон и плечи у него стали поуже, спина сутулится. А ведь я его помнил сильным, прямым, с негасимой улыбкой на лице.

Вот и наш любимый обрывчик. Здесь мы с Акимычем провели много ночей. Видели августовский плач звезд, слушали всхлипы ночи, тишину, вечно несмолкаемый говор реки. Пришли. Сняли котомки, расправили плечи, развели костер. А тут и вечер задремал, шла следом ночь. Смолкли птички. Затаились в чащах сумерки...

Линяла голубень неба, мешалась с чернотой ночи. И вот

совсем слиняло. Минута, другая... Серость обволокла небо. И над прогнутыми от старости сопками дрогнула первая звездочка. Подмигнула нам шмелиными ресницами и тонко-тонко зазвенела, будто кто тронул ее кленовой палочкой. В ответ громче заворчали перекаты, быстро-быстро заговорили, словно ночи обрадовались. Сережка посмотрел на звездочку и тихо улыбнулся. Тронула улыбка и губы Акимыча, не пропустил малец первую звездочку. Хорошо.

Легкий ветерок сонно вздохнул над долиной, прошелся над сопками, покрыл рябью тихое плесо, накатил волну на берег, да так и оставил ее на песке. Качнулись прибрежные кусты, спать пора, а тут еще ветер не угомонился. Не нашел себе пристанища. Луна чеканным диском повисела над вершиной горы, повисела секунду-другую и поплыла, покатилась над таежным миром.

В небе затабунились приблудные тучки. Вот одна из них набежала на луну, украла заколдованный свет.

— Чи-чи-чить! Чи-чи-чить! — звонко закричал спросонок куличок.

— Эко, запаниковал, — усмехнулся Акимыч. — Ничего с той луной не станется.

А сопки, будто ждали этого, надвинулись на наш костер, на реку. Они хмурые и кудлатые, как ворчуны-старики, насупили брови, еще больше прогнули тигровые спины, вот-вот прыгнут, раздавят нас, реку, беспокойного куличка, который все еще не мог угомониться. А главное — костер. Он всем людям в ночи нужнее нужного.

Ползут тучки, бредет ночь, перекатывается с перевала на перевал. А в ней таинственность, загадочность. Вот кто-то шумно прогремел галькой. Кто? Тайна... Всякая ночь в тайге — тайна. Хочется крикнуть во весь голос: «Кто там ходит?» Однако зачем кричать. Кто бы там не ходил, у каждого свои тропы, свои дела. Может, это тигр-бродяга пришел испить водицы после сытного обеда. Или изюбр ушел на солонец. Мог и медведь-непоседа пройти по нашим следам, сманенный запахом рыбы. Охочь он до нее. Сунулся к костру, а он дымный, жаркий. Там люди. И медведю не с руки связываться с людьми. Знаком. Ночь, а в ночи все может быть...

Вот над задумчивыми туманами раздался истошный крик совы. Вздрогнул Сережка, повел головой Акимыч, поднял и я глаза к небу. Вот сова пролетела над костром и затихла в распадке. В пойме Чичингузы испуганно пролаял гуран, выскочил на крутой взлобок сопки, гавкнул

оттуда еще два раза и, наверное, поспешил удрать от опасного места. Над нами просвистела крыльями запоздалая уточка, упала на плес. Следом шумно шлепнул по воде хвостом таймень. Играл ли он от избытка сил или успел поймать проплывающего на другой берег мышонка, а может быть, хариуска-вертунка проглотил. Ночь...

Ночи... Ночи... Зачем и куда вы плывете над древней тайгой, то паркие, то знобкие, стынете в морщинистых сопках, тайгу баюкаете. Сколько вас было? Сколько еще будет? Не укладываются мои вопросы в голове, нет на них ответа. От этого тихая грусть и вместе с тем радость. Радость, что есть ночь, которая плакала звездами, река, малиновые искры, что тают над нами...

Сережка потрошил острым ножом леньков на шарбу[1]. Акимыч промывал их, резал на пласты, бросал в котелок. Я по-медвежьи ворочал сутунки ильма[2], укладывал их у костра. Так уж у нас повелось, что я всегда занят костром и дровами. Все делалось молча, сноровисто.

Потом мы с Сережкой готовили на траве стол. Сережка был неутомим, резал большим ножом хлеб, прижимая булку к груди, вскрывал банки со сгущенным молоком, не лодырь. С таким в тайге не пропадешь. Получится из него таежник. Это я вижу, читаю в глазах Акимыча. У него глаз остер на таких мальчишек. Хотя Сережка еще не охотник, ему всего двенадцать лет, но рыбак он славный. Вчера и сегодня легко обловил меня и Акимыча. Его чуткие руки успевали уловить легкий поклев хариуса, осторожный, но уверенный — ленка... В его холщовой сумке было на десяток больше рыб, чем у нас. Обидно. Я уже привык к его победам, но Акимыч не мог смириться. Ему было явно не по себе. Он крякнул, когда Сережка подсекал ленка или хариуса, дул в сивые усы, косил с голубинкой глаза на Сережкину удочку-удачницу. Было с чего. Акимыч—известный охотник и рыбак. Весь Сихотэ-Алинь прошел. Знал, где и какой зверь держится, рыба в каких речках водится. На каждой рыбалке легко облавливал меня. Однажды даже заявил, что не родился еще тот рыбак, который бы обловил его. А тут? Пусть Акимыч такое сказал в шутку, но меня заело. Вот и «подкинул» я ему Сережку, чтобы сбить спесь со старика. И сбил. Сережка оказался талантливым рыбаком. Акимыч понимал, что

---

[1] Шарба — уха.
[2] Ильм — порода дерева.

это подвох, и знал за что, но молчал, лишь постреливал на меня глазами, не то с обидой, не то с затаенной радостью. Иногда ворчал: «Молодежь пошла! Дай палец — полруки оттяпает!..»

Сели ужинать. Хлебали шарбу деревянными ложками. Так вкуснее. Я поглядывал на Сережку и опасался за его язык, как бы он его не проглотил, так уж аппетитно хлебал парнишка варево. Сережка молчал, а когда насытился, начал сыпать вопросами:

— Дядя Степа, а тигры могут напасть на человека у костра?

— С чего им нападать, — лениво, растягивая слова, басил Акимыч. — Рази у них мало других дел аль места в тайге не хватает, чтобыть на человека нападать. Но бывает, и все лишь потому, как сам человек на тигра нападат. Не троиь — зверь смиренный.

— А кто сильнее — тигр или лев?

— Заладила сорока. — Степан Акимыч скосил на меня глаза. — Кто их знает? Не приходилось видеть боя. — Он, тут же отбросив свою неуверенность и не оглядываясь на меня, продолжил: — Но разумею, что нашенский тигр — самый опасливый на свете зверь, коли что. Всем царям — царь! От одного таежного духа он должен быть богатырем. А лев что? Лев квелый и ленивый зверь, млеет на жаре, на дурняка давит африканскую живность да дрыхнет на солнышке, в этих самых...

— Саваннах, — выручил я Акимыча.

— Запамятовал. А наш тигр ходок, добычу берет в трудном бою, сегодня на этом хребте в драке кабана-секача задавил, завтра уже на десятом хребте сцепился с медведем. А на этих зверей сила да сила нужна. Не жирафа там аль антилопа. Видел я тех львишек в кино. Только и страху-то, что грива мохнатущая.

— А вы бы убили льва?

— Хе, с чего не убить. Хорошее ружье черта свалит. Потом при их бесхитрости я бы их, как рябчиков пощелкал. Но только на кой они мне? Тигра убить дело потливое. Одно, что тайга густущая, другое — хитряга он непомерный.

— А двадцать тысяч лет назад какие здесь звери были?

Ну, не чертенок ли Сережка? Ведь я ему на сто рядов все объяснил когда-то.

— Не жил в ту пору,— огладил Акимыч рукой усы и улыбнулся.— Но смекаю, что такие же и были. А то как

же? Может, кто и не дожил до нас, но тигры, кабаны, изюбри и еще кое-кто такими и остались. Потом ить я от безделья книжки читаю. Была у моей внучки Варюшки книжка, где про хвостатых великанов сказывал ученый, мол, они жили мильёны лет тому назад даже здесь. Потом вымерли от бескормицы. Только кто знат, отчего они скапустились? Земля — дело тонкое. Непосильную ношу живехонько сбросит. Даст укорот рукам. Потом пишут, чтобыть с природой надо бороться, в газетах читывал. А для ча с ней бороться-то? Помогать ей надыть, а не бороться.

— А как произошел человек? — не унимался Сережка.

— Не из дыма же?

Сережка усмехнулся и выпалил:

— Человек произошел от обезьяны!

— Тю, дурачок! От обезьяны! Ерундовину городишь! Чужим умом живешь! Не мог человек родиться от такой уродины. Нет у меня на то согласия! Нет! Потому, как на земле остались те обезьяны, отчего же они до сих пор не дорастут до человека? Ну хоть одна?

Молодец, Акимыч, разумно сказано, хоть и примитивно.

— Не дорастет, была хвостатой образиной, ею и останется. Ишь ты, человек от обезьяны! Загнул. Ты, Сережка, хорошо учись, книжки читай, но свой ум имей. Человек без своего ума, как былинка в поле, обсевок на обочине — куда ветер, туда и он. Возьми дикого кота и тигра. Вразуми меня, кто от кого родился? Не знаешь. Я говорю, все рождены сами по себе,— кипел Акимыч. Не знал Сережка, что родственную линию человека и обезьяны Акимыч никогда не припимал.— А вот как, мне то неведомо.

— А Дарвин? — вставил я.

— Оставь себе своего Дарвина. Я с ним чаи не гонял и спор не вел, а доведись... И твоему Дарвину досталось бы на орехи.

— Тогда от кого же произошел человек? Бог сотворил? — подбросил я живца Акимычу.

— Только не бог. Когда рождался человек, того бога и в помине не было. Матушка-природа породила человека, но как? Другой спор.

Акимыч подул в усы. Я знал, что сейчас последует перечень критических выводов, как мы плохо распоряжаемся на земле. Тема для меня пе новая.

— Зверя добиваем. Рыбу в речках дотравливаем. Сводим тайгу на нет, особливо вблизи поселков. Неладное творим. Все кричали: «Бейте хищников!» Перебили. Красных

волков и в помине нет. Диких котов уже десять лет в глаза не видел. Росомаху днем с огнем не сыщешь. Сгинули харзы. А кто знает, как полезны те хищники? Никто не знает. По моей думке, все они к месту, к делу. За мильёны лет не съели же волки изюбрей. А вот пришел человек и съел всех горалов. Я охотник, и думки мои шире, чем у простого человека. Другой меркой веду замер зверю.

— Акимыч, а дикие коты страшные? — прервал Сережка старого таежника.

— Во, во, отцы и мамаши пугают детей волками и котами, нет чтобы за них заступиться, мол, все в тайге пользительно и к месту. Взять клеща. Бывают от него болезни. Наше дело — научиться их лечить. А мы взялись травить дустом его. Травить. Вот я решил проверить: отравится ли клещ от дуста? Положил в коробку с дустом, неделю, бедолага, ползал и не умер тот клещ. Не умер. А вот с клещом потравили пичуг и зверушек. Да что зверушек. Больших зверей загубили тем дустом. Не дотянули ученые в этом деле. И не страшны коты. У них без нас полон рот забот. Однова ощерился на меня котяра, думаю, с чего ба. Оказалось, кошка котят принесла. А так ба и не показался мне на глаза.

— А вы его убили?

— Здрасте! Эх-хе! Зачем же? И для чего все это я говорю? Сказал же: осталась самая малость. Я же охотник. Значит, не должен трогать того, кто на распыл пошел. Вот такие, как ты, могут все порушить. Дай вам плохонькое ружье — порушите. Много развелось охламонов. И никто им не подскажет, что в природе даже комар в пользу. Не будет комара — рыба оглодает. Знать, и комаришка нужен.

Совсем недавно Акимыч был грозой для хищников. Бил волков, премии получал, уничтожал харз, росомах. И вдруг так круто повернул. Почему?

— Надо быть, во всем чутка поглазастей. Бивал я раньше хищников, сейчас поворот в душе произошел. Сам умом добрал, что неладное творю. Видел я, как харза поедала своих щенят. Потом колонки убивали свое потомство. Ить страшно смотреть, как матери едят своих детей. Почему? Корма стало мало. Вот они не пускают лишку на свет. Самим будет голодно, а щенятам и того больше. Кто их надоумил? Сами. Лишний рот — помеха, урон для тайги. Природа им такое подсказала. Будет снова корм, не убьют.

Сережку, видимо, удовлетворил ответ Акимыча, и он спросил совсем о другом:

— А есть люди на других планетах?

Акимыч, чуть скосив глаза на Сережку, ответил:

— Знамо, есть. Ежли по-научному каждая звезда — Солнце, так отчего же под теми Солнцами не родиться такой же Земле? Ломал я и над этим голову. Разум подсказал, что есть. Читал я, будто на нашу Землю идут непонятственные знаки, а мы не можем их разгадать. И не разгадаем, ежли будем ровнять себя с обезьяной! — гремел Акимыч, сердился на отдаленное родство с макаками.— Понимать надо, что у тех людей другой говор, другая мерка к делу. Может, они дикари, а может, выше нас разумом, наша же техника-пиротехника не годна для серьезного разговора. Ежели я с японцем могу говорить руками, то для дальних землишек такая беседа — тьфу. И выйдет наша беседа как у глухого с глухим:

— Ты откель идешь?

— Погодка ниче, знатная. Пора бы сено грести.

— Дрова, поди, пилил?

— Не было бы засухи.

Акимыч — умнейший человек, хотя и не добирал в грамотешке, но он не зря провел жизнь у костров таежных. Было время поразмыслить и от людей многое взять. Своего рода школу пройти таежную. Вот и блестят у Сережки глазенки, тянется парнишка к мудрому таежнику.

— Книжки я тожить люблю почитать на досуге,— продолжал Акимыч.— Умные люди пишут книжки. Не без того, что водицы подольют. Бывает, много спору лишнего. Я так понимаю: ежели ты ученый, добрал своей головой, что, мол, наша Вселенная без конца и края, что там тожить живут люди, то скажи однова, и я пойму. Не разводи турусы на колесах, а забей гвоздь в стену так, чтобыть никто и зубами не выдернул. Аль такое дело, стали часто писать о засорении рек и морей керосином. Едал я керосиновую рыбу. Почему она дохнет? От керосина. Тут же и надо поставить точку, мол, хватит рыбу травить. Запрет на то. Отрубили. А ить выходит-то что? Одни пишут, что, мол, к гибели это дело приведет не только рыбы, но и человека, а вторые травят. Плохо. Очень плохо! Ученый человек зря не забьет в колокола. Подумал хорошенечко и сказал свое словечко. Слушай, мол, человек, я правду сказал. Не хотим слушать. Ну, ин ладно. Не спорить нам надо, а всем миром подумать, как спасти то, что осталось.

— В споре рождается истина,— буркнул я.— А вдруг тот ученый ошибся?

— Ученый да ошибся? Не смеши. Ученый не могет ошибиться. Зачем он тогда, сукин сын, зряшно штаны за партами протирал? Нет, ученый должон сказать тютелька в тютельку. Вот и я, покедова дошел умом, что и как, не одну тысячу раз передумал, что, мол, ежли звезды — Солнца, должны быть вокруг них и Земли.

Сережка нацелил свои ястребиные глаза на руку Акимыча.

— А вам руку на фронте ранили?

Старик фыркнул, как рассерженный кот, сунул ложку за широкое голенище сапога, пробурчал:

— Как тебе ответить? Одним словом или чутка пошире?

— Расскажите побольше.

— Ну тогда держи карман: на фронте не был, самолеты не сбивал. Тыловой крысой проболтался...

В глазах Сережки разочарование.

— ...Калечен до войны. В войну добывал для солдат мясо. Ну, рассказывать аль не стоит?

— Рассказывайте. Расскажите,— запросил Сережка.

Акимыч почесал затылок.

— Ну так и быть. Жизнь на исходе, надыть кому-то и о себе рассказать. Будь я с грамотой, я бы о тайге чутка и о себе такую ба стихирю отгрохал, что зачитались бы! Сидит вот тайга в душе, не выплеснешь. Слушайте, коль сон не сморил...

Жили мы за синими горами

Акимыч долго молчал, жевал травинку, собирался с мыслями. Знаю, не любят таежные люди рассказывать о себе. Но для Сережки надо. Очень даже надо. И для меня не лишнее... Ждем. Чуть притух костер. Ярче стали звезды. Туман подполз к ногам, толчется. В забоке реки надрывно плакала ночная птица. По таежной трассе прогудел автомобиль. Сорвалась звезда с неба, прочертила прямую линию и упала за сопками. Акимыч хлопнул ладонью по шее, убил комара-кровососа, покосился на нас, вроде проверил, так ли уж мы ждем его рассказа? Сережка, полуоткрыв рот, ждал. Акимыч усмехнулся. Заговорил. Заговорил не совсем обычно, с грустинкой, с поэтической ноткой:

— И жили мы за синими горами. В том краю было тихо и безлюдно. Каждый знал друг друга. Да что там друг друга, бывалочи, прокричит в деревне петух, и то знали чей. Деревенька была тихая и малодворная. Ее окружала тайга, непролазная тайга. Бочком прилепилась к дубовой сопке, светлыми окнами смотрела на Широкий Лог, на реку, на восход солнца. Горяночкой звали мы свою деревеньку. И люди там жили добрые и солнечные. Охотники. Тайгу в разор не пущали. Берегли. Однова Кузьма Кулагин, я еще мальчонкой был, убил тельную изюбриху по весне. Мужики тут же собрали сход, чин чином, выговор написали и влепили Кузьме полста розг березовых. Памятно. Не будет больше изгаляться над зверем. Во как! А так жили тихо и мирно. Хлебов сеяли самую малость, чтобыть до ледостава хватило. А когда замерзал Фудзин, везли пушнину в города, потом оттуда привозили хлеб, лопотину[1] и разную разность. И как-то сразу повелось, что в нашей деревне никто не собирался богатеть. Может быть, потому, что наставником был мой дед Алексей. Добрейшей души человек. Говорил: «Обуты, одеты, сыты — и будя. Человек рожден не для того, чтобыть хапать, а творить добро, других своим теплом отогревать. Жить надыть ровнехонько и без надрыва. Будешь богат, жадность взыграет, за славой погонишься. А что слава? Слава — дым. И деньги на тот свет с собой не возьмешь. Потому не суетитесь. Робите для полезности земной». Дед был грамотей. По писаному шпарил, как мы с вами, говорил споро и быстро.

Умерла наша бабка. Дед взял меня к себе. Сказал, мол, надо дурня учить, да и одному скучновато. Все под боком будешь чуять вьюнка, теплее, и на душе меньше нудьги.

Дед у нас был гордый, сильный, красивый. Настоящий человек. Заехал раз к нам пристав с казаками. Пристав кличет: «Подать сюда Алешку Сонина!» Чутка в подпитии был. Казаки в наш дом. На деда с плетьми. Дед за берданку: «Всех порешу! Дам укорот рукам. Что за банда ворвалась?» Казаки назад. Он им вслед: «Пусть сам пристав сюда идет, тогда и разговор будет». Пришел. Зашумел: «Властям наперекор! Свяжу, сукина сына!» — «Нет, мать моя была человеком, а не сукой».— «Ты с кем разговариваешь, Алешка Сонин?» — «С брандохлыстом! И не Алешка я Сонин, а Алексей Степанович».

Крик, шум. Сбежался народ. Все с берданками. При-

[1] Лопотина — одежда.

став в попятную. Вот-вот разгорится бой. Заставил-таки дед пристава называть себя Алексеем Степановичем. Дали корм коням, казакам едому.

На медведя ходил с рогатиной, так, для потехи, и чтобы силу свою показать. Любил одеться нарядно: натянет высокие сапоги, рубаху красного сатина, пояс вязаный, расправит бороду и идет гоголь гоголем по деревне. Зимой доху из волка, шапку из рыси, рукавицы из соболя надевал. Форсил ладно. Щеки горят от мороза, глаза блестят. Не идет — пляшет. Пружинит, будто молодой.

В доме, особливо к весне, набиралось много разных зверюшек. Любил дед таежный мир. Тут и медвежата, и бельчата, появлялись косулята, изюбрята. Все, кто стал сиротой. Не без умысла собирал их в дом дед — приучал меня к доброте, любови к зверям. Особливо мне памятны косуленок Яшка, медвежонок Тимка, белка Внучка, енотиха Машка. Запомнились потому, как это были последние мои зверята. Все заботы о них дед валил на меня. Я кормил эту ораву, поил, доглядывал, чтобы собаки не порвали. Одному подай орешки, другому — свежей травки, третьему — мяска, меду. Не до баловства. Бывало, встану среди двора, а они ко мне, едому просят. У ног толкутся, на плечи карабкаются. А я в крик: «Ну что я буду с вами делать, прожоры? Уходите от меня». Ну где там. Корми. Кормил. Выкормил. Первым ушел в тайгу Тимка. Долго он стоял на берегу речки, оглядывался на меня, чмокал, губы тянул, фышкал. Мы с дедом молча смотрели на него. Не звали к себе. Дед только и сказал: «Каждому свобода мила». Сделал шажок медвежонок, потом смело плюхнулся в воду и поплыл на тот берег. Вылез из воды, отряхнулся, посмотрел через плечо и покосолапил в тайгу. «Иди с богом! — смахнул слезу дед.— Стареть стал, жалейка в душу вошла». Енотиха ушла ночью. Не видели мы как. Потому легче перенесли разлуку. Внучка уходила в тайгу долго и нудно. Отбежит от нас, влетит на дерево, вернется. На плечо мне вскочит. Снова к тайге. Снова вернется. А потом взбежала на березку и так с березы на березу и ушла от нас. Яшка уходил три недели. Уйдет на день-другой, вернется, снова уйдет.

Ушли все. В доме стало пусто и скучно. Но скоро дед начал учить меня стрельбе. Душевную пустыню заполнял работой. С этого и началась моя жисть...

Дохнул ветерок, разметал искры, принес к костру запахи смолистых шишек... Еще одна падучая звезда ушла за

сопки. В низовьях Фудзина раскатисто и мягко ухал филин. Акимыч примолк. Видно, вспомнился дед, дни вступления в жизнь. Погрустнел, оттого чуть обвисли плечи.

— М-да,— протянул Акимыч.— Стреляли мы по мишеням. Я стрелял до тех пор, пока терпело плечо. По полста пуль каждый день выпаливал. Стреляли в доску. На ней махонький кружок зачернен. Сначала с полста сажень, потом с сотни, позже и до двух сот дошли. Ложатся пули в кружок — отодвигаем мишень. Потом дед смастерил санки, вырубил пазы в колодине, смазал их жиром, приспособил вороток, мишень стала бегать. Дед шибко крутил вороток, а я палил. Надо было пять раз отпалить, пока санки пройдут по колодине. Дед поучал: «Ежели ты хочешь быть охотником, то должен стрелять зверю в глаз. Не могешь, то и не берись. Раненый зверь в тайге без толку сгинет. Надо добивать его с одной пули...» Гоняли те санки почти месяц, пока я не наловчился все пять пуль в кружок садить. «Будет из тебя охотник!»— говорил дед. Потом нарезал мячиков из березовой баки[1]. Бросал их вверх, а я стрелял. Месяц учились. Пока я с первой пули не разбивал мячик. Не потому, что я был дюже ловкий, пóтом добился. В дождь и слякоть шли к речке и учились. Когда дед сердился, вырывал из моих рук берданку. Я бросал шары. Он каждый шар разбивал с одной пули.

Потом я не раз поминал добрым словом своего деда. Славный был наставник. Однова медведя срезал у самых ног. Рысь прыгнула на меня с дерева — сбил на лету. Всякое было.

Старики смеялись над нами, мол, стар и мал потешаются. Своих же внуков учили только на промысле. Дед в ответ говорил: цыплят по осени считают. Так к осени мы и закончили учебу. И однова, в воскресенье, деды сидели на бревнышке. Мы крутились рядом на полянке. Слышу, старик Пронин начал подсмеиваться над дедом:

— Скажи-ка, друг ситный, Ляксей Степанович, чему ты своего шалопая научил? Ить вы много тыщ патронов выпалили. А? Все летичко бабахали. Пропал зверь, ежели Степка выйдет в тайгу.

— Може, и пропал. Хочешь спытаем. Давай на спор, что Степка собьет зверя бегучего, птицу летную. На четверть спирта бью по рукам.

[1] Бака — березовый гриб.

— Пустое. Я за три четверти бьюсь, что твой брандахлыст и сидячей пичуги не собьет. Разбивай, мужики. У Степаныча спирт есть.

Был у Пронина волк. Старик хотел от него новую породу собак завести. Но где там. Волк рвал дажить гульных собак. Ночами выл, не до сна.

— Так и быть, отдаю дикаря для мишени.

Волка вели на двух поводках. Вышли на пашни. Хлеб уже сжали. Пронин сказал:

— Вот убьет его Степка у кромки пашни и чтобыть с одной пули, твоя взяла.

— Лады. Ну, Степа, покажи этим шаркунам, чего ты стоишь!

Дед подал мне один патрон. С волка сняли ошейник. Присел он на лапы, сжался, взвыл и громадными прыжками ринулся к лесу. Промажу — быть ему на свободе. Волк рвал лапами землю вместе со стерней. Я посмотрел на деда, он отвернулся. Вижу, жаль ему волка. Но спор есть спор. Я вскинул берданку, волк был уже у кромки пашни. Резанул его наискосок по лопатке. Ткнулся зверь и несколько раз перелетел через голову. Поднялся. Сел на хвост и так завыл, что у нас волосы на головах зашевелились. Вроде он прощался с тайгой, жизнью. Всего сажень не добрал до леска. Подавился кровью. Начал заваливаться на бок.

Дед Пронин хмыкнул, почесал затылок, заругался:

— Так ему и надо, не захотел жить мирно, вот и... А ты тоже хорош, не мог отпустить, пусть ба жил.

— Но ить...

— Замолчь. Ить, ить...

Пошли к волку, а он все еще греб лапами, рвался на свободу. На волю бежал. В глазах тайга, только перевернутая, будто тень в бездонном озере. Там же горело махонькое солнышко. Такого не позабыть.

— Ну а теперича надо искать птицу летную,— подал голос мой дед.

— Пустое, Ляксей, ежли волка на таких махах свалил, то птицу и подавно. Не зря порох жгли. Пошли, старики. Пою спиртом вдосталь.

— А ты, внучек, поди погуляй по тайге. Тебе спиртишко пить рановато.

И пошел я мимо волка, мимо скал, в тайгу пошел. Вошел в азарт: пролетала ворона, я ее сбил влет, рябчика снял с дерева, фазана сбил, белку торкнул и да-

жить дятла не пожалел. Вернулся домой к вечеру, вывалил под ноги деду добычу. Он посмотрел, присел на приступок крыльца и заговорил:

— Скажи, для ча человек живет? Не знаешь? А я вот знаю, чтобыть свою доброту и душу людям оставить. Не будет того, знать, не жил человек. Вот для ча я водил в дом разных тварей? Эх ты! Не добрал, вижу душой. Ну ин ладно, у тебя все впереди. Слухай. Заблудился я однова в пихтаче. День шел, и просвета не видел. На душе сумно и лихотно. Будто меня в могилу живьем закопали. К вечеру едва выбрался к кедрачам. А здесь солнце, белки гуркают, пичуги трезвонят... Легко стало. Синичка села на веточку и спрашивает: «Чив? Чив?» — «Жив, грю, жив, теперича выберусь к дому». Лег на пригорок и заснул... Ну давай мне оружье и топай к матери. Придешь, когда переворот в душе будет.

Акимыч замолчал. Подшевелил сутунки в костре и задумался.

— А потом, что было потом? — не удержался Сережка.

— Потом был суп с котом. Охотились мы с дедом до масленки. Ладно добыли пушнины. Вышли домой. А вскоре и наст в тайге начался. Дед снова меня в тайгу. Там, по речке Ульяновке, мы сгоношили загон. Для ча? Чтобыть изюбрей и косуль туда загонять, от смерти спасать. В наст все хищники жируют. Копытный зверь не может убежать от них. Его не держит корка снега, а волков — легко.

Вышли мы ранешько. На ногах лыжи с камусом. Увидели след. Пробежали с версту и наткнулись на быка. Он от нас, но тут же зарюхался по грудь в снег. Ноги настом порезал. Мы навалились на него. Связали. Поволокли к загону. В загоне отпустили. Он зафыркал, ногами засучил. Дед закричал:

— А ну не фыркай, лешак! Аль забыл, что в прошлом году был в загоне? Вона две метки мои на ушах.

Бык был здоровущий, с черной гривой на шее. За наст мы десять изюбрей отловили. Пришло время зверей отпускать, а дед не может с собой сладить: откроет ворота, снова закроет... Меня спрашивает, что, мол, ежли их для себя оставить? Быки к пантовке ладные панты вырастят. Пронины и Калашниковы оставляют быков-то.

Я соглашался. Но когда дед говорил, что давай отпустим, грех с души сымем, я тоже соглашался. Дед мурлыкал любимого бродягу, который бежал с Сахалина, ходил вокруг загона, орал на зверей:

— Ну чего зенки выпучили? В тайгу хочется. А вот я не отпущу! Тут будете хиреть! Ага!

В тайге весна. Птички снова заливались, урчали речки. Дед подбежал к воротам. Выхватил из загона жердину и бросился на зверей. Сыпанули они в ворота, топоток — и нет их.

— Пошли! Пошли! Якри вас в нос! — топал старик ногами, хлопал в ладоши.

Разбежались. Стало сразу пусто и грустновато. Дед говорил, будто оправдывался:

— Пусть живут, для ча нам много денег? Ить совсем не для ча? Все у нас есть. Грех на душу брать — силов нету! Каждому неволя в тягость. Вона, пронинский волк, тожить хотел жить. Не вышло. Ага. Пусть живут. Пусть живут.

Дед суетился, ворчал:

— Может, скажешь, здря старались? А я скажу, не здря. Шесть маток, четыре изюбра... Вона сколько зверья слободного.

Нелегко отпускать зверей. А что делать? Не принимала душа, чтобыть кто-то жил в неволе. Уходили мы с радостью на душе. Осилили свою жадность. Теперича смекайте, каков был мой дед. Ить мы запросто до десяти тыщ отпускали из рук. Каждые панты до двух тыщ могли стоить.

В тайге вековечной

Ночь звездная, за туманом приглушенно урчит речка. Звенит за костром кузнечик, старик видно, вот и мучает его бессонница. От росы влажными стали его струны, поэтому стрекочет он хрипло и глухо. Акимыч послушал ночь. Поднялся, присел на сутунок, обхватил колени руками, тихо заговорил:

— И быть бы этой тайге в нетронутости, вековечности первозданной, но пришли люди... много людей. Государству позарез нужен стал лес. Гудела и стоном исходила тайга. Работали здеся люди разные: пермяки, молдаване, вятичи, староверы, комсомольцы-добровольцы. Что началось! Визжат пилы, кричат люди, храпят кони... Зверь сразу откачнулся в глубь тайги. Страхотно ему стало. Лес валили, рубили, к речке волокли. Все вроде ладно. Но вышел просчет. Стоп машина! Едома кончилась. А без едомы, извест-

но, человек не работник. Бросились продукту на лодках поднимать. А много ли поднимешь на лодчонках по нашим речкам? То обмелеют, что курица вброд пройдет, то от ливней взъярятся — не подступись. Горные речки капризные. Не вышло. Бросили комсомолию носить хлеб за тридцать верст. Не успевают носить. С плеч — и в котел. Тогда начальник к нам, охотникам, пришел. Выручайте, мол, заколодило дело. Дело к сезону, отчего не начать охоту. Согласились. Доброе дело надо было спасать. Охотников набралось уйма. Но отдали нам предпочтение. Мы местные, тайгу знаем. Я и угодил в ту кумпанию. Мне было за двадцать годков. Охотник я был везучий. При мне оказался знаменитый Угрюм. Вот через него-то и изуродовал руку.

Акимыч хмыкнул, покачал головой и тихо продолжил:

— В молодости мы все чутка взбаломошены, вроде нам все нипочем, все по силе. Но об энтом потом. Песика я подобрал в овраге, его выбросил туда на издыхание дед Пронин. Не показался он ему. И верно, песик был неуклюжий. Однако дед мой осмотрел его и сказал: «Получится хорошая собака. Пронин, похоже, выжил из ума — такого песика выбросил. Все приметы налицо: шишкан на голове большущий, в глазах живинка, пятый коготь на задних лапах растет. Береги! Корми!»

Мне песик не правился поначалу. Угрюмость и нелюдимость его были тому помехой. Но скоро он меня обнадежил. В три месяца от роду курицу задавил. Но есть не стал. Схватил курицу в пасть и ко мне на поруба. Я ить тожить лес валил. Нашел меня, положил у ног трофей и тут же сам лег. Вроде сказал: бери, мол, вот принес добычу. Дома мама схватила палку и едва не зашибла щенка. Утоплю, мол, паршивца. Но тут случилось быть деду Алексею, он и скажи:

— Не шуми, дочка. Твоя курица скоро обернется сторицей. Пес будет мировецким охотником. А ежели еще и кошку задавит, то и на тигра пойдет. Убей бог, пойдет!

— За тиграми!.. Да он хоть бы паршивого бурундука задавил. А ежели Пушка тропет, то я его убью поленом. Жрет за троих, не пес — лошадь.

В пять месяцев пес стал похож на заправскую собаку, хотя был еще по-щенячьи угловат. Но в нем уже стала заметна охотничья хватка. Хотя бы такое: каждое утро к нашему заплоту приходил соседский козел. Не козел — шайтан! Просовывал голову между жердинами и дразнил щенка. Песик рванулся однова, а цепь-то и лопни. Перемахнул

песик заплот и оседлал козла. Пока подбежали люди, козел лежал бездыханным. Втридорога пришлось платить хозяину за того черта. Зато вся деревня легко вздохнула. Козел был великий пакостник: в любой огород залезет, детей бодал...

На охоту вы вышли с Макаром Колодиным в паре. Охотник был добрячий. Верный человек. Можно было положиться на него, как на гору. Не подведет, перед зверем не спасует. Не лодырь — вся работа на промысле пополам: дров наготовит, ужин сварит, в зимовьюшке приберет, ежли придет первым с промысла. Не залежится на нарах. У него тожить было две собачки — Найда и Шарик. Собачонки хорошие, любого зверя «ставили» под выстрел. Но как водится среди собак, при встрече они спешат помериться силой, чтобы решить, кому быть вожаком. На Угрюма первым налетел Шарик. Но тут же и получил свое и потом долго скулил, жаловался хозяину. Поделом.

Пришли мы в свое зимовье, убрались, дров наготовили, двери, окна поправили. Продукту определили, чтобыть мышота не поточила. Навели должный порядок. На второй день чуть свет пошли на охоту. Пороша притрусила сопки. Принарядились они, притихли, будто нас ожидали.

Люблю я до смерти тайгу-старушку. Ласковая она и мягкая. Особливо когда вот так падет снег и смотреть на тайгу с сопок. Дух замирает. Снежок вершины еще больше высветлил. Не понять, какая красота кругом. А горы тянутся и тянутся. Будто нет им конца и края. Вывершили мы Кедровую сопку, остановились на носке. Вдали виднелся глыбастый Арарат. Есть у нас такая гора. Рядом с ней другие малышами кажутся. Снег сгладил ее ершистость. Красота. Так стоял бы и любовался часами, но у нас так принято: любоваться — любуйся, но о еде не забывай.

Тронулись хребтиком. Макар вел в поводке Шарика, а я Найду. Угрюма пустили вольно. К полудню вышли на следы кабанов и начали распутывать порыти[1]. Догадались, что звери пошли на взлобки и там встанут на дневку. Оттуда неслось воронье карканье — верный признак, что кабаны на лежке. Собаки забеспокоились. Угрюм начал тянуть носом, суетиться. Верхним нюхом шел на зверей. Макар подмигнул мне:

— Туда же, будто что понимает. Охотник!

[1] Порыти — кабаньи копки.

Пустили собак. Они сразу взяли в намет, только хвосты за кустами замелькали. Угрюм тоже за ними увязался. Играючи ловил их за хвосты, мешал бежать.

— Вот взяли вахлака! Сорвет охоту! — злился Макар.

Стало тихо. Так тихо, что даже вороны перестали каркать, затем раздался дружный лай собак. Мы сорвались с места — и бегом: где юзом прокатимся, где носом пропашем... А лай рядом. Собаки держат зверя. Стали подкрадываться, чтобыть не спугнуть загодя. Кабан — зверь не шутейный, с ним надо держать ухо востро. Он, ежели поймет, что его дело табак, бросит собак и кинется на охотника. Ружья не успеешь поднять, как он уже у ног. Раненый будет пострашнее и хитрее медведя. Медведя можно ножом добить, а этого едва ли. Хватит клычинами — враз обезножит. На боках такая броня, что нож, как по железу, скользнет. Вышли на взлобок. Видим, в чащинке собаки держат чушку. Она на них кухает, крутится... Они метались, как волчки.

Чушка, знамо, не секачь, для людей и собак не так опаслива. Грохнули мы по ней — колесом пошла. Трофей оказался порядочным, пудов на десять.

— А где же Угрюм, поди уже в зимовьюшке дрыхнет?— засмеялся Макар. Обидно так засмеялся. Но тут же сдернул шапку с головы и начал слушать.

Издалека шел заливистый лай. Проскочили мы отрожек, влетели в орешниковую чащу, едва продрались через нее, вбежали в чистые дубки, осмотрелись и глазам своим не поверили: Угрюм держал огромного секача. Видно, вожака от табуна отбил. Седина на гриве секача дыбом стояла. Само мало двадцать пудов будет. Такие кабаны сейчас в редкость. Не даем им дожить до старости. Кабанище щелкал клыками, с губ у него срывалась пена, норовил поддеть носом собаку. Сек дубки, как траву, кидался на песика, но тот легко увертывался, хватал за жирные бока зверя.

— Меть под ухо! — прошептал Макар.— Вторым выстрелом я буду осаждать!

Хряснул я зверя под ухо. Он осел и повалился на бок. Макар для страховки ударил вторым выстрелом. Пес оседлал кабана, вогнал клыки ему в горло, но тот уже дух испустил. Угрюм посидел на хребтине секача и бросился ко мне, чтобыть излить свою радость. То руку мою лизнет, то на грудь прыгнет, потеребит полы дошки... Щанок, одно слово — щанок.

К вечеру на лошаденках приволоклись возчики. Забра-

ли кабанов и ночью увезли рабочим. Счас так охотники не делают. Нет той уверенности, наперво добудут зверя, потом уже идут за конями.

Дело у нас началось ладно. Умом прикинули, что ежли так пойдет, то явно мы станем стахановцами. Премию получим. Лестно. Но на каждую думку есть пословица: «Чем черт не шутит, когда бог спит». А бог, как я приметил, подремать мастак. Староват уже стал. Поди, на ходу спит. А уж коли на седьмой день недели приляжет, то может и месячишко дрыхнуть.

Акимыч прервал свой рассказ, налил в кружку остывшего чая. Жаркие блики костра багряно полыхали на его рыжеватой бороде, обнимали широкие плечи. Луна уже прошла полнеба, стронулись звезды со своих мест. А ковш Большой Медведицы, который осенью опускает ручку вниз, подался к сопкам. За рекой взвился чей-то надрывный плач и оборвался на самой высокой ноте. Сережка вздрогнул, глаза у него округлились от страха. Акимыч с усмешкой заметил:

— Хищник зайца давнул. Ночь на то и дана, чтобы кто-то кого-то съел. В это время все хищники на кормежку выходят. Травные же — травку пощипать выбегают. Чую, сумно тем живется, кому на роду написано быть съеденным. Человеку такое не прописано. Однако и он живет под страхом. Случись война, сколько снова люду погинет. Одна бомба, атомная к тому же, сразу тыщи скосит. И чего бы людям не сговориться и жить ба мирно, по-людски. Зверство душевное перебороть. Другое дело я, охотник, для дела добывал зверя. Хотя в душе тоже осталась махонькая болячка, что кого-то убил, кому-то не дал пожить вдосталь. Но об этом не стоит жалковать. На бойнях тожить бьют свиней и коров. Все мясо едят, пусть и нас не осуждают. Главное, чтобыть охотники без поры и времени не били зверье. Брали бы от тайги с выбором. И не оскудеет она.

И все же у костра не стало уютней, тревожная пустота разлилась в моей груди. Такое бывает, когда начнешь думать в масштабах земли. Каждому ясно: не жить ему тысячу лет, а всякий думает вперед на тысячу. Ведь в тех тысячах лет будут жить наши потомки.

— Человек не заяц! Человек должен постоять за себя! Не трусь, Серега. Вы молоды, вы еще скажете свое слово. Верю — скажете! — с нажимом говорил Акимыч.— Да-а-а... Угрюм рос на глазах. В одночасье стал нашим любимцем. Он отказался охотничать с Макаровыми собаками, ходил на

зверя один. Пришлось разделиться. На второй день Угрюм «поставил» снова кабана. Потом он загнал на дерево медведя. Я подбежал, песик грыз кедр, рвал корни, лаял. Кедр был густущий, не вижу, на кого пес ярится. Думал, рысь загнал. Но когда сверху медведь на меня рыкнул, я отпрянул в сторону, шапку с головы у меня сдуло. Осмотрелся, в развилке дерева сидел белогрудка. С первой пули снял. Но напужал он меня до смерти. Тут уж Угрюм дал себе волю, трепал мишку, пока не запалился. Я не мешал, пусть потешится, злее будет.

И пошло у нас дело. Промышляли ладно. Макар кабана, я второго. Возчики едва поспевали вывозить добытое. Молотили зверя, ажно шерсть с него летела. Но в ползимы на нас навалилась невезуха. Шарика засек кабан, вырвал клыками ребро. Не смогли спасти пса. Найда без Шарика оказалась собакой никудышной. И начались с Макаром штучки-дрючки. Стрелял он в секача, ранил, потому как пуля дала рикошет от куста. Найда не подпридержала зверя, отскочила в сторону. Макар увернулся от клыков. Зверь снова на него бросился. Тогда он прыгнул на дерево, схватился за сук и повис. Кабан крутился под деревом и все наровил достать ноги охотника клыками. Макар не потерял рассудок. Изловчился и прыгнул кабану на спину. Оседлал. Понеслись они под гору. Макар успел ножом перехватить зверю глотку. Добил.

Через неделю Найда нашла берлогу. Облаяла зверя. Зверь проснулся и начал вываливаться из дупла. Упал почти на голову сучонке. Та с визгом в кусты, но зверина успел хватить ее лапой за бок и начисто вырвал ногу. Подбежал Макар. Зверь на него. Макар выстрелил и перебил зверю передние лапы. Тут и началось. Зверь на задних пошел на человека. А у Макара застрял патрон в казеннике. Пока суд да дело — Найда дух испустила. Макар один, без подмоги, дал от медведя деру. Бежит и оглядывается. Зверь не отстает. Остановился охотник уже у зимовья. Понял, что зверь не страшен, но патрон не может достать. А мы уже пришли с промысла и посапываем с Угрюмом в избушонке. На крик выскочили. Добили вахлака. Макар долго слова не мог сказать. Но ничего, оклемался...

Филин проплыл над нами демоном. В его когтях трепыхалась рыбина. Тяжело взмахивая крыльями, он ушел за сопку. Ночь ползла с перевала на перевал, стонала и всхли-

пывала чернотой. Луна ушла за горы. Одинокий костер среди тайги навевал что-то грустное, тревожил; жаль было ушедшее время, жаль невозвратного.

— Поздно приходит понимание жизни,— рассуждал Акимыч.— Пока дойдешь умишком, что и как, тут житуха и на закат пошла. Ну ин ладно, доскажу про Угрюма, про мясозаготовку. Шла она ходко, хоть мы и остались с Угрюмом одни. Не горевали. Угрюм работал за троих. И вот,— Акимыч сделал короткую паузу,— случилось незадача. Бывает так, что ты готов другу помочь, но не можешь. Угрюм остановил секача-отшельника. Загнулись у старика клыки. Притупились. Молодежь выжила его из табуна. Но для собак он был страшен. Такие секачи мощны и мудры. Тигры их обходят стороной. Мы называем их «собачья смерть». Не встанет, такой хитряга, на чистинке, забьется обязательно в шеломанник. Там собачонки путаются в чаще, лимоннике, а кабан их спокойно секет. Такой дьяволина отобьется от целой своры собак. Умеет постоять за себя. Угрюм тожить «поставил» кабана в орешнике, там все было перевито виноградником и лимонником. Зверь чавкал, ярился, целился на собаку. Вижу — рванется секач! Но стрелять не могу. По орешнику пуля даст рикошет, может торкнуть и Угрюма. Взметнулся снег, затрещали кусты, кабан как танк, прошел чащу, раздался визг, пес взлетел над орешником и плюхнулся в снег. Я выстрелил и промазал. Но тут подоспел Макар. Осадил зверину. Я ломился к псу. Он лежал на боку, его кишки парились на снегу. Макар метнулся к собаке, перевернул на спину и закричал:

— Давай суровую нитку! Иглу-цыганку давай! Чинить будем. Кишочки целехоньки. Выживет.

Макар достал флягу с кипяченой водой и начал промывать Угрюму кишочки. Потом зашил рану, как мешковину, мне приказал:

— Неси на зимовье, но пить псу не давай. Сдохнет. Я кабаном займусь.

Пес пластом провалялся месяц на медвежьей шкуре. Когда мы приходили с промысла, слабо постукивал хвостом по полу, будто оправдывался за оплошность, виновато скулил. Выжил. То-то было радости! Но больше мы с ним не пошли на охоту. Пора было домой выходить. Продукту для людей завезли. Да и зима шла к концу...

Мимо нас проплывали последние светлячки, подмигивали холодным светом, будто говорили: «Помни, человек, жизнь трудна, жизнь сложна, надо остаться в этой коловерти самим собой, человеком надо остаться. Любить — друга, ненавидеть — врага. Врагом у тебя может быть только тебе подобный. Природа же для тебя — друг. Природа всегда была другом человека, с самой его колыбели. Она растила, пестовала человека, грела кострами. Огонь для костра дала тоже природа. Не забывай об этом, человек...»

На спине тигрицы

— Поди, на сегодня будя?— усмехнулся Акимыч.

— Нет, вы еще не рассказали про руку,— встрепенулся Сережка.

— Дойдем и до руки. Шли годочки. Отмахивали. Шла за нами и слава. Хвалили нас, по плечу хлопали, мол, молодцы, стахановцы. Мы и радешеньки. Слава Угрюма лишила сна многих охотников. После первой раны он еще стал мудрее, осторожнее. Не допускал больше такого, чтобы зверь сам выбирал себе место для боя. Ставил зверя на чистом месте. А если и забивался тот в чащу, то не лез к нему напролом, звал нас, промышленников. За пса давали бешеные деньги. Но для нас это ни к чему. Мы и так зарабатывали ладно. Угрюм помогал.

Акимыч глубоко вздохнул. Вздохнула и ночь. Сонный ветерок тронул лохматость тайги, разбудил птичек в кустах. Снова проплакал куличок на косе, прошумела набежавшая волна. И снова тишина. Костер. Звезды и темень в горах.

— Охотились мы в верховьях Хрустального ключика. Зверя было много. На желудь вышел урожайный год. Кедровая шишка тоже уродилась на славу. Да и снегу было мало. Зверь и сбился здеся. Не было дня, чтобыть мы не добыли кого-то. С Макаром уговорились: чушек трогать поменьше. Пусть, мол, живность плодится. Били секачей. Да и Угрюм выбирал себе зверя по силе. После ранения он затаил лютую злобу на них. Видел я, как он пробежал мимо чушки, хватил кабана за ляжку и осадил.

Однова мы вышли по рассвету. Выбрались на становичок и почапали лезвием горы. Угрюма вели на поводке. Зачем зряшно его силы выматывать. Вот завидим кабанов,

тогда и спустим. Так и сделали. Рванул он под косогор, залаял, но не так залаял, как раньше лаял. Бросились мы на лай, но тут же остановились. Угрюм пошел по следам тигров. Солнце выкатилось, по глазах полохнуло. Ослепило нас. Слышим, что рядом бой идет, но не видим. Раньше мы встречали тигровые следы. Я еще говорил Макару, как бы, мол, не порешили тигры собаку. Макар в ответ: «Угрюму никакой тигр не страшен. Но вот та тигрица с тигрятами может и порешить. Недаром она снует по нашим следам. Уж не из людоедок ли? Видит бог, она пробовала человечинку. Вон и лапу ставит вкривь, кто-то ее ранил».

Бежим. Звон в тайге стоит. Угрюм лаял с визгом, с приступом. Начали палить в воздух, чтобы отогнать тигра. Плачет и стонет кобель. Но тут послышался визг, рык. Стало тихо. Ажно в ушах треньকает. Подбежали к месту, где был бой, увидели на пороше тигровые следы, следы собаки, но уже никогда не было. На снегу остались затоптанный пятачок, бусинки крови. Макар наметанным глазом осмотрел место и сказал: «Тигренка Угрюм держал. На него сзади напала тигрица и задавила. Унесла пса. Бежим, может, где перестреним».

Бросились мы в сопку. Была надея увидеть людоедку. Но кругом было чисто. Смоталась дьяволица распадком в Эрдагоу. Спряталась в кедрах. Я стал звать Макара, чтобыть догнать тигрицу. Но... Нет, Макар не трусил, но сказал: «Зряшное это дело, Степа. Ежели она из людоедок, то отыщем себе могилу в ее желудке. Недаром говорят гольды, что тигр рожден для того, чтобы грешников через свой желудок пропущать и очищать их от грехов земных. Мы ее будем скрадывать, а она нас. У кого больше шансов? А? Прыгнет из-за выскори или колодины — и нет тебя».— «Трус ты?— кричу я Макару.— Трус!..»

«С запалу такое городишь,— рассудил Макар.— Какой же я трус? Просто не тороплюсь на тот свет. Жаль свою душу. А она у меня одна. А ежели тигрица ее выдавит, кому я нужен без души-то? А? Вона какой свет-то ясный. Скоропалительно лишиться его, надо быть безголовым. Ты, поди, забыл, как мы драпали из-под Арарата, когда нас тигр пужанул. Забыл?..»

Такое враз забыть и верно нельзя. Вздумали мы с ним тигра спроворить. Здоровенный был вахлак. Взяли его след и пошли тропить. Тигр дал кругаля вокруг Арарата, вышел нам в спину. Но нас такое не испугало. Мы повернули и снова за тигром. Он трижды скрадывал нас. Од-

нова сидел в десяти шагах за выскорью. Но не прыгнул. А когда завечерело, тигр начал рычать за чащами, вроде нас упреждал, мол, кончай, братва, не было бы худо. Рычит и к нам подается. Мы взяли ноги в руки и такого драпа дали в зимовье — снег из-под унтов вихрился.

«Тот тигр был обычный, а эта людоедка,— упреждал Макар.— Еще и с тигрятами. В одночасье хрип вырвет. Для нее добыча мы вкусная. Душой чую — вкусная».

Прав был Макар. Случилось мне видеть такое, что скажи кому-то — не поверит. Шел я охотой по осени. Вылетел выводок рябчиков. Сверху на них сова метнулась. Схватила рябчонка. Но тут на нее рябуха бросилась. Завязалась драка. Рябуха против железных когтей совы. Клювик слабенький, когтей нет. Одна материнская любовь, и только. И что вы думаете, отбила рябчонка, хотя он уже был дохлый. Сову прогнала. А тигрица? У той твари есть чем постоять за себя, не даст в обиду своих дитять.

Поспорили, так ни с чем и пошли на табор. Охота сорвалась. Да и какая может быть охота, чтобыть быть на охоте — без охоты, дажить думать нет охоты. В сердцах я пообещал ту тигрицу за Угрюма сжить со свету. Так и осиротели мы без собаки. Добывали зверя, но уже с большим трудом. Одна была надея на свои уши и глаза...

— Что-то пить хочется. Пойду холодной водицы принесу. Першит в горле.— Акимыч тяжело поднялся и ушел к речке. За тальниками он долго и жадно пил воду. Вернулся. Сказал: — Хороша ночка. Може, побросаем мыша на тайменя. Гуляют по плесу.

— Акимыч, мы завтра побросаем, доскажите, что было потом.

— Человек тем и отличается от зверя, что думает о потом. Что будет потом? Вся наша житуха в потом. Потом я вот и живота чуть не лишился. Руку искалечил. Ну ин ладно, всю рыбу не переловишь, всего из тайги не возьмешь, надо оставить и на потом. Скоро передавят всех тайменей лесосплавом. Кету на нет сведут.

— А почему должны передушить их лесосплавом?— спросил Сережка.

— Все просто: таймень идет в верха после ледохода. А тут ему навстречу лес гонят бульдозеры. Вот и затирают тайменей. Мало затирают, так еще и икрометы рушат. Ножами и траками их затаптывают.

Светлячок опустился Акимычу на бороду. Он выпутал его, подержал на ладони, сказал:

— Лети. Кажи людям дорогу. Со светлячками в наши реки заходит сима. И ее маловато стало. То браконьеры бьют острогами, карбидом травят, то фабрики речки загаживают...

— Доскажи Сережке свою эпопею,— перебил я Акимыча.

— Доскажу. Для Сережки она не будет лишней. Доскажу. Пусть на ус мотает. Сгодится. В жизни все сгодится. Вот еще и о душе стоит сказать. Ить любое дело без души — не дело. Душу никто не видел, а душевность можно у многих заметить. Другой человек тебе и улыбается, хорошие слова говорит, думаешь, душевный, а на поверку — сволота. Почему? Потому, что ему душу с дитять такую вставили. Улыбаться и ласковые слова говорить научили, а добру нет. Такой брандахлыст тебя среди тайги умирающего бросит, только бы свою шкуру спасти... Губим тайгу и зверя.

— Не сгубим. Еще немного, и одумаются люди. Ведь никто не желает зла тайге и зверю.

— Може, и так, но не было бы поздно. Ить дураку ясно, что без тайги нам не жить. Она нужна людям для продыху и радости.

— Не шуми, Акимыч, согласен с тобой, что лес губим. И все потому, что за лесом-то догляду нет. Ругают за это в газетах, но пока проку мало. Вырубим — новый насадим. Человек — он все может.

— Тю, дурак! Зачем же садить новый, когда надо этот, как сад, беречь. Выпилил кедерку — посади на то место другую. Вот и не будет урону тайге. А то ведь валим, мнем молодь траками. А для ча? То-то что не для ча!

— Не дурак я. Но пойми, Акимыч, что пока нет тех машин, которые бы брали из тайги лес и не мяли молодь. Будут, тогда все и встанет на свое место. Мне тоже жаль, что гибнет молодь, но что делать?

— Думать надыть. Пусть я без грамотешки человек, но свою научность имею. А потом, разве кедр не диво? Это ить — дойная корова. Орех из смолы растет, а в орехе том молоко, масло. Бери и ешь. А мы ту корову под корень рубим. Таежный мир чуден. Растут две деревинки — одна осинка, другая березка. Сок у осины горькущий, а у березы сладкий. Сахар готовый течет. Поразмысли-ка, ить это готовый продукт, ежли к нему подойти с головой. Для ча та-

кое природа родила? Для нас, людей. Химия здесь непостижимая. Я не прочь, чтобыть лес вырубали. Но как? Ты небось в своем саду не срубишь зряшно деревцо? То-то!..

Акимыч, кстати сказать, все непонятное относил к химии: будь то космический корабль, небо, сложная машина... Говорил: «А не ча химия. Завернули люди!»

— Ну и росли бы одинаковые деревья, ан нет — растет разная разность. Не дано людям вырастить орех без кедра. Не дано! А без понятия не стоит и жить на земле. Зачем место зряшно занимать? Вот и горы, от ча они появились? Как?

— Эти горы вулканического происхождения. Гигантские сдвиги, катаклизмы выдавили их на поверхность земли,— попытался объяснить я.

— Пошел, поехал,— иронически усмехнулся Акимыч.— Катаклизма — все то химия. Оттого, дружба, здеся горы, что нутро земное усыхает, вот и морщится старушка-земля. Просто, и не надо никаких научностев. Доживет человек до старости, начнет усыхать нутро, кожа его тожить морщится. Нет у тебя, Андрей, своих задумок. Книжный ты человек. Меня сто ученых не собьют с толку. Сам посуди, раньше мы пилили лес дедовскими пилами, лошаденками возили к речке, теперича на тот лес дана разная техника-пиротехника, леса берем в тыщу раз больше. Успеет ли он за нами расти? Я говорю: нет! Пусть хоша тыща ученых мне долдонят об этом. Знать, надо лес садить. Больше садить, чем выпиливаем. А что там с тобой спорить, время зряшно тратить, ты сам маненько понимаешь, хоша и супротив меня говоришь. Доскажу лучше свой сказ...

Акимыч помолчал, поковырял палкой в костре.

— Прав оказался Макар. Скоро тигрица начала нам изрядненько надоедать. Бывалочи, идем мы по следам кабанов, а она пристроится позади и скрадывает нас. Того и гляди, что прыгнет на спину. Только то ее, може, и сдерживало, что кормов было вдосталь. Посудили, порядили и бросили энтот ключ. Перешли к верховьям Лудевы. Но не прошла и неделя, как тигрица снова промеж нас оказалась. След-то был у нее приметный.

И вот однова выпал снежок. Мы разбежались, чтобыть свежие следы кабанов подхватить. Я выбежал па пригорок, тут и ветер забуянил. Завихрился куржачок над сопками, запуржил солнце. Хмурой стала тайга, дрожит от

холода и ветра. Но мне было жарко. След кабанов подхватил. Спешу. С сопки на сопку бегу, десять потов пролил. Глаза зыркают по сторонам. Кабанов выглядываю. В то же время незабываю о той лихоманке. Каждую рыжинку за тигрицу принимаю. Будь со мной Угрюм, куда веселее ба было. Лудевские крутяки лесистые. Не вдруг зверя увидишь.

Так отмахал я с версту. Пусто. Кабаны ушли за хребет. Вышел на становичок и оторопел: след тигровый увидел, свежохонький, даже снегом не успело запорошить. Она прошла. Ровную строчку провела по хребтику. Постоял, подумал, почесал мокрый затылок, и, была не была, неужли зверь хитрее меня. А ну спытаю его хитрость. Отомщу за Угрюма. Ить я человек. Пошел по следу. Выбежал на Свояковку, смотрю — на льду речушки давлепина лежит. Кабана задавила тигрица. Теплеинький. Пошел совсем сторожко. Шаг убавил. Зверь не шуточный. Может, затаилась и ждет меня, прыгнет, прихлопнет лапищей, как мышонка. Винтовку не успеешь вскинуть. Снял затвор с предохранителя. Шапку сбил на макушку. При каждом шорохе вздрагиваю. Но след троплю. Вышел к колодине, по следу вижу, что лежала за ней. Тигрята, их было у нее двое, чуть поодаль. Там, где Свояковка разделилась на два рукава, тигрята пошли левым ключом, тигрица правым,— думала, за ней пойду. Но я пошел за тигрятами, хоть на них зло сорву. А уж потом с ней разделаюсь. Пробежал один косогор, второй и на другой стороне речушки увидел табун кабанов. Они спокойно паслись в дубнячке. Хвостиками помахивали, рылись в снегу и в листве, желудь ели. Мог бы парочку спроворить, а после, когда побежали бы, еще одного-двух прибрать. Ить все равно кто-то из них бросился бы в мою сторону. Но не стал трогать. Нельзя в нашем деле за двумя зайцами гоняться.

И вот между кедрами промелькнула тень тигра. Я мигом припал к дереву. Жду. Звереныш вышел на чистинку. Тут я его и ахнул. Эх и подскочил жа он, заревел, зарычал, покатился вниз по снегу. Тигренок уже был как настоящий тигр. Вот-вот мать его должна бы от себя отлучить. Я к нему. Он раззявил пастище — и на меня. Вторым выстрелом добил. Все оказалось просто. Пуля, она многое может...

Акимыч опустил голову. С горы провыла волчица. Ей ответили звонкими голосами волчата. Акимыч прогудел:

— Ишь вы, развылись. Знать, еще остались живы. Воют волки — это первый знак, что тигров близко нету. Не мирятся они друг с другом. Вековечные враги. Расхристали мы волков и тигров. Теперича хватились, но чутка поздновато. Но лучше поздно, чем никогда.

Вой не пугал нас, завораживал густотой, силой. Он волнисто шел по сопкам и стыл в распадках. Сережка, заглянув в глаза Акимычу, нетерпеливо спросил:

— Ну, одного убили тигренка, а второго?

— Бросил я тигренка — и за вторым. Старался держаться чистых мест. Как ни как, а тигрицы опасался. Впереди затрещали ронжи. Это первый признак, что кого-то видят. Знак другим зверям и птицам подают об опасности. Видят, но кого? Думал, что тигренка. Попер напролом. Ведь тигренок не должен напасть на человека. Еще умишка маловато. Он при матери до трех лет нахлебником ходит. Ежли отобьется, то с голодухи околеет, аль медведь его задерет.

Я был уже под хребтом. Сбоку шумнула чаща. Резко повернулся на шум, вперед винтовку выбросил. И — вот она! Владыка всех владык! Я ее сразу узнал. Поймал на мушку ее лбище, тянул на себя спуск, а выстрела нет. Подвела охотничья привычка: после выстрела ставил затвор на предохранитель. А в голове отметил, что иду со снятым с предохранителя затвором. Хватился сдернуть предохранитель, но было поздно. Тигрица падала на меня. Ударила лапами в грудь. Сбила с ног. Из глаз сыпанули искры, в голове зазвенело, стало темно, будто ночью. Все!..

Как и что было потом со мной, то мне неведомо. Не знаю, как и отчего очнулся я. Не сразу понял, где и что со мной. Только вижу, будто в тумане, мелькают пред глазами деревья, по небу тучи мечутся, ушастое солнце висит над головой. По лицу больно ударил мерзлый сук. Плыву куда-то. Скосил глаза и похолодел: рядом тигровая морда. Это тигренок бежал сбоку и норовил поймать меня за бороду. Я дунул на него, как на комара, он отскочил. Понял, что еду на тигровой спине. Несет она меня, видно, в свое логово... Там и полакомиться мной захотела. Чтобыть никто не мешал. Похолодел. Заполошный страх сдавил грудь. Едва снова паморки не вышибло. Но пересилил страх. Жить шибко захотелось. Правая рука в пасти зверя. Но не болит. Занемела. Начал левой шарить по поясу. Нашел нож. Последняя надея на него. Осторожно, чтобыть не встревожить зверя, вытянул нож из ножен. Отвел в сторо-

ну руку. На тигренка не обращаю внимания. Бес с ним, хоша он и толкется перед лицом. Собрал все силы и что есть моченьки пырнул зверя под вздухи. Нож, как в тесто, вошел по самую рукоятку между ребрами. Присела людоедка, ровно к своей боли прислушалась. Рыкнула. Выкручивая руку из плеча, как оглоблю из вяза, так швыранула меня через себя, что полетел юзом под сопку.

— Как же она вас не задавила?— удивился Сережка.

— То вопрос. Мы тожить гадали над энтим, но не дошли, что и как. Может, тигрица приняла меня за мертвого, потому как я супротив нее не пошел, а впал в беспамятство. Может, хотела показать своему последнему отпрыску, как давить двупогих. Поди узнай, что у нее на уме. Очнулся я. В горячке вскочил, начал шарить по снегу руками, чтобы найти хоть палку. Нож-то в груди у злодейки оставил. Бежать бы надо, но ноги приросли к земле. Пристыли. Хотел закричать, но голос пропал.

А зверь-то, вот он в пяти шагах. Идет ко мне, хоть чутка и пошатывается. Кровью харкает. Пастище раззявил, как пролаз в берлогу. Из зева кровь и пар. Клыки стальными костылями сбоков торчат. Прыгнуть ба надо в сторону, но опять же ног не оторву. Понимаю, что это последние шаги зверя. А уйти не могу. Обрел голос, заверещал, как зайчонок. Но тут грохнул выстрел. Тигрица сунулась головой в снег, хватила его кровавой пастью и забилась в судорогах. Упал я на теплую тушу зверя, и все...

В небе надсадно прогудел самолет. Его бортовые огоньки светлячками промерцали в небе и смешались со звездами.

— Вишь, как времена меняются: в небе самолеты, летят к Луне ракеты, разная разность придумана, в каждом селе врач, фельдшеры, а у нас, давно ли было такое, не двести верст завалящего фельдшеришки не было. Бабки повивальные решали наши судьбы. Роды принимали, они же и глаза закрывали... Ить для каждого человека предначертана судьба. Энто уж точно. О самолетах-эропланах слушали, как сказку. Не верили. Многие за то носили обидные клички, как Федька-брех, Петька-свистун.

Акимыч посмотрел на калеченую руку, тихо засмеялся.

— Однако вы наших бабок не хулите. Они были добрейшими старушенциями. Кровя заговаривали. От змеиного укуса легко отхаживали. Животы лечили. Только надо

было верить тем бабкам. Мы верили. Они все могли. Вот и меня бабка Катерина выходила. Очухался я на десятый день. Увидел свою спасительницу. Она стояла у печи и варила зелье. Пахло смолой, травой и еще какой-то чертовщиной. В теле моем была легкость.

Рука, которую бабка уложила в коряные лубки, не болела. «Глаза открыл. Теперь оклемается»,— услышал я шепот.

Оклемался. Макар пришел навестить. Досказал то, что я не видел. Слышал он мой выстрел, рев тигренка. Побежал на помощь. Но было далеко. Нашел место, где меня тигрица жамкнула. Побежал следом. Дважды тигрицу видел, но не мог стрелять, боялся, что пуля заденет меня. Стал догонять. Видел, как я ударил тигрицу ножом. А когда слетел со спины ее, опять же не мог сразу добить зверя. Кусты мешали. Едва поспел. В упор стрелял. Потом верст двадцать пять тащил меня на себе. Упарился, едва живой добрался до Нижних Лужков. Но меня не оставил. А там и бабка за дело взялась. Руку уложила, пихтовой смолой залила, желчи медвежьей добавила для верности в смолу. Боялась антонова огня.

— А что за антонов огонь?— спросил Сережка.

— По-научному гангрена,— ответил Акимыч.— Осилил я «антона». Мы парили кости в теплой воде. Бабка их правила: заставляла дрова колоть, в сараях прибирать... Говорила: «Повезло тебе, касатик, главные жилы зверь не порвал».

Пусть она осталась кривой, но не немощной. Живу, работаю, пользу людям припошу. Не поспей Макар, не вылечи бабка — не слушать ба мне, как переговаривается тайга. Друг в тайге — дело великое. Но чтобыть был такой друг, который и живот готов положить за тебя. Ноют мои кости порой на непогодушку. Ноют. В том самого себя виню. Надо бы по-другому людоедку хрястнуть. Поспешил. Там, где тигра бродит, бросай то место и уводи собак. Обязательно сграбастает. И не надо было тигрят трогать, а саму убить. Люди в те годы часто терялись в тайге. Кости их обглоданные находили. Работа была тигровая. А потом от ча она стала такой? Потому, что кто-то ей лапу покалечил. Первое время она жила голодно, вот и напала па человека. Понравилось. И стала людоедкой.

Ну, поди, будя. Спать пора. Завтра еще помочалим чутка речку, и пора домой, но допрежь рыбу падо перевялить. На досуге еще кое-что расскажу.

Акимыч набросил на плечи плащ и тут же уснул крепким сном таежника.

Время за полночь. Бодрящая свежесть волнами накатывалась с реки. В ней купались звезды. Но они не все могли вместиться в речку. Речка маленькая, а звездная россыпь неисчислимая. Роились они и путались в кроне деревьев, терялись за сиротливыми тучками...

Костер затухал. Я завалил в него два ильмовых бревна. Они, почадив немного, занялись голубым огнем, отбросили зябкость ночи под кроны разлапистой черемухи. На черемухе уже начали буреть ягоды, терпкие и вязкие. Прилег и я. Сережка еще долго крутился у костра, косил карие глазенки на тайгу, на реку, шмыгал носом. Наверное, рассказанное Акимычем его взволновало. Может быть, и судьба земли оставила в сердце отметинку. Ведь такое, о чем рассказал Акимыч, в школах не преподают. Сережка лег мне под бок, затаился мышонком и уснул. Я плотнее накрыл его плащом, сам присел у костра и задумался.

Пусть Акимыч и рассказывал о своих таежных приключениях, но в его разговоре нет-нет да и прорывалась горечь. Есть она и у меня. Что говорить, трудно живется людям в больших городах, в каменных дебрях. Под ногами вместо травы — асфальт. Нет той голубизны, какая висит над головой в тайге. Но я верю, что человек построит скоро другие города, где вокруг будет тайга, простор, чистый воздух. Вспоминаю слова Акимыча: «На земле все рождено к месту. Даже звезды на небе светят не здря. Они созданы для красоты и мечтательства, для душевного успокоения. А уж зверь и разные букашки-букарашки — те и подавно даны для пользы людской. Мильёны лет Земля отбирала для люда нужное и пользительное...»

Я незаметно задремал. Проснулся, когда уже во все голоса трезвонили птички и мои напарники готовились выходить на рыбалку. Росы умыли тайгу. Шел погожий день. Над рекой еще дремали плотные туманы. Но эти туманы были чистые и духовитые. Под ними глухо рокотала река. Сопки отодвинулись. Сбросили с себя ночную насупленность, зеленая веселинка играла на них. Смазывались и тухли звезды. Таяла темень глубоких распадков. С деревьев звонко хлюпали росистые капли, бились о прелую листву.

Мы спешно собрали удочки и сошли с яра. Окунулись в вязкие сумерки туманов. Несмотря на туман, здесь каждый звук слышался отчетливо. Сережка и Акимыч отошли

от меня на десяток шагов, и тут же их не стало видно. А через несколько минут я услышал радостный вскрик Сережки, шлепоток по галькам рыбины. Вскрикнул и Акимыч. Обоим повезло. Клев шел на славу. Не прошло и часа, как в наших торбах было по десятку хариусов и ленков. А у Сережки и того больше.

Но вот из-за сопок вырвался первый лучик, робко, мягко скользил по хвоям, будто смычком тронул струны. Вокруг враз все запело и зазвенело. Кедры вскинули лапы к небу, распрямились березки, отряхивая росу, качнулись могутные дубы. Заметались, зазмеились тысячи радуг в росинках. Колыхнулись туманы, начали оседать на реку, уползать в сумрак прибрежных чащ, чтобы там затаиться на день, а в ночь снова выйти на простор реки, погулять вволю, поблуждать в обнимку в темноте.

Выкатилось солнце, стало шире и просторнее на реке, в тайге. День распахнул свои ворота. А мы бредем и бредем по берегу, бросаем удочки, затем резко подсекаем, натужно вытягиваем рыбин из воды.

К обеду мы собрались на яру. Подшевелили затухший костер, начали сооружать вешала, разделывать рыбу. Тут же чуть ее присаливали, развешивали над дымокуром. Дым будет коптить, солнце подсушивать. Выйдет рыбка на славу. Сгоношили обед. Плотно поели. Подставили спины солнцу, начали загорать. Акимыч лег в тень. Мы настроились слушать его рассказы дальше. Но он молчал, жевал травинку по таежной привычке. Мы ждали. Если Акимыч разговорится, а говорил он ради Сережки, чтобы в его душу заронить тревогу за тайгу, не просто заронить, а сделать его хозяином тайги, значит, продолжить свой сказ.

По следам тигров

— Пришла писулька сверху,— неожиданно заговорил Акимыч.— Надо, мол, для зоопарка отловить двух тигров. Вот до чего довела нас громкая слава. Наверху, видно, прикинули, что ежли можем так шустро добывать кабанов и медведей, то отчего же нам не словить тигров? Кто-то написал, а у нас затылки чешутся. Словить живьем тигра — дело не шутейное. У меня еще после того случая душа не оклемалась. А потом, ведь мы их никогда не ловили. Ну, что делать будешь? Задали нам работенку. И не сло-

вить — плохо. Не хочется ударить в грязь лицом, славу охотничью порушить. Это не кошку спеленать. Ну и дела! Начали пытать нашенских охотников, может, кто лавливал тигров. Те похохатывают: вас просят, вы и занимайтесь этим. Словом, не было среди нас тигролова. Сказывали, что до революции этим занимались братья Калашниковы, но где они — никто не ведал. Понаслышке мы знали, что тигров надо ловить скопом, наваливаться и вязать. Старых не трогать, мол, не переживут неволи и собак порвут. Но ведь и тигренок тигренку рознь. Хотя бы попади такой, которого я торкнул, ить он всамделишный тигр. Силушки не занимать стать. Они, бывалочи, запрыгивали в загон, убивали ударом лапы коня и тем же путем уносили в тайгу. А заплот-то до двух метров. Сила и силища — надыть сказать.

Судили, рядили, а до дела дойти не можем. Все же начали собирать бригаду. Первым согласился Кондратий Калугин. Мужчина огромадный. Косолапого для потехи один на один брал в берлоге рогатиной. Дважды был мят, но не унялся. Двухпудовой гирей крестил себя десятки раз. Рост — сажень. Не заполошный, не трус. Мы с Макаром. Четвертым пошел Семен Басов. Этого деньги соблазнили. За тигров обещали хорошо платить. А Басов за медным пятаком сотню верст пробежит. Но дюжлив был, таких поискать, когда шел за раненым зверем, мог двое суток быть без едомы. А когда добудет зверя, то за один присест ведро мяса уберет. Другой бы от этого окочурился, а он хоть бы хны. Картошки может ведро съесть и не вздохнуть. Зимой спал без костра на снегу. На берлогу тожить один ходил, чтобы трофею пополам не делить. Пятым вызвался идти Иван Гусев. Не человек, а палка стоеросовая. Длиннющий, худущий, в чем только душа держалась. Упади он на землю, и, кажется, кости его загремят. Но ты попробуй уронить его. Даже Кондратию такое было не под силу. Охотник он был негромкий. Промышлял белку, соболя, колонка. А тут согласился идти на тигров. Кондратий поднял его на смех: «Зря ты, Иванушка, идешь с нами, человек ты гусиной породы, как бы тебе тигр мослаки не поломал».

«Посмотрим, кто кому. В сказках Иваны всегда дураками наперво идут, а потом царями делаются. А Кондраты живут на середке, их нигде не слышно. Будешь убегать от тигра, в заступу не пойду. Пусть он тебе брехливое хайло свернет, чтобы ты не брякал зряшно языком, как корова боталом».

Шестым пошел Макаров сынишка Федор. Парень уже был в силе. Бивал уже и зверя. Сгодится.

Стали думать, как нам пленить зверя. Одни говорили, что надо сеть взять и на тигра ее набрасывать. Отпало, тигр легко ту сеть отобьет лапой. Другие советовали в клетку загонять. Тожить не подошло. Где же будешь клетку по тайге таскать? А на приманку — при том обилии зверя тигр в клетку не пойдет. Кондратий махнул на все рукой и сказал:

«Будем ловить, как все люди ловят. Вязать будем, и вся недолга. Не пристало русскому мужику перед зверем пасовать».

Вышли. С дюжину собак с собой взяли. На всех надеи не было. Тигра не каждая осмелится держать, хоша многие из них осаживали кабанов и медведей.

Под Ким-горой натропили тигровую семью. Тигрица двух тигрят водила. По следу мы проверили собак. Из двенадцати восемь поджали хвосты и драпаля домой. Остальные пошли по следу смело. Даже гусевский Соболька рванул вперед, даром что бельчатник.

К полудню собаки заметались на поводках. Звери рядом. Пустили. Бегом за ними. Палим вверх, страх на зверей нагоняем, собакам смелости добавляем, но главная забота у нас — тигрицу отогнать подальше. Они уже лаяли на одном месте. Держали кого-то. Но кого? Тигрицу или тигренка?

Выскочили на сопочку, видим, тигренка держат. Федька, Макаров сынишка, бросился вперед и еще чаще начал палить из винтовки, тигрицу угонял. Мы окружили мальца. Кисочку, этак пудиков на восемь. Тигренок забился под выскорь и кхакал на собак. Щерил вершковые клыки, отбивался лапищами. Окружили мы его, орем, а что делать — не разумеем. Не подступиться.

И тигренок понял всю опасность. Взъярился, бросил собак и выпрыгнул из-под выскори. Ударом лапы сбил Кондратия с ног, тот полетел под сопку. Метнулся на Макара, тот быдто мячик откатился от зверя, зарылся головой в снег. Тигренок прыгнул на лежачего, вот-вот вгонит клыки в шею. Но тут на тигренка прыгнул Иван Гусев, схватил его за заднюю лапу, рванул на себя, будто кутенка распластал на снегу. Я не помню, как оказался на спине, может, с той поры к этому такую привычку заимел, когда катался на спине тигрицы. Пымал его за уши и вдавил голову в снег, не даю вывернуться. Вскочил Макар, вце-

пился в переднюю лапу, тянет на себя. Очухался и Кондратий, тожить ухватился за заднюю лапу. Семен Басов цымал переднюю. Распластали, распяли зверя. Вернулся Федька, тожить на подмогу бросился. Растянуть растянули, а дальше не могем ниче сделать. Вязки у одного оказались в котомке, другой до кармана не дотянется. Орем мальчонке: «Доставай вязки, помогай!»

Начали вязать. Не сразу получилось. Федька подавал вязки. С богом пополам спеленали. На башку мешок накинули. Отпустили. Эх, и закрутился тигренок! Задохнулись и мы, слово сказать не можем. Только часто дышим да мычим. Первым заговорил, заикаясь, Кондратий:

«Хлопни он меня в ухо — быть мне в раю. Вдарил, как колуном хватил по боку. Ажно дух перехватило».

«За такую деньгу можно и потерпеть. Тыщ двадцать отвалят!» — промычал Семен.

«Когда уханькает, кому нужны те тыщи. Рискованное дело»,— сказал свое слово Иван.

«Взялись, так уж доведем до конца. Одного словили, словим и второго»,— потирая спину, ворчал Макар.

«Братцы, я вам дело скажу. Однова я брал живьем медвежонка. И знаете как! Вилагой его придавил к земле и потом спеленал, как ребеночка. Ежели также тигров брать. Мы их легко возьмем».

«Разумно глаголешь. Пять рогулин любого придавят к земле — и не пикнет. А потом каждый бросайся к своей ноге и вяжи»,— согласился Макар.

Повеселели. Отдохнули. Соорудили носилки и понесли трофей в Кавалерово, чтобыть оттуда сразу отправить тигренка пароходом в бухту Ольгу. В полночь были в деревне. Пустили тигренка в сарай, позвонили в Ольгу. Ждем оказии. Приехали. Увезли нашего пленника...

— Сережка, ястри тя, огонь-то полыхает. Спарим рыбу. Дыму больше, дыму! — зашумел Акимыч, прерывая рассказ.

Мы быстро приглушили огонь гнилушками.

— Вторую тигрушку мы взяли в Деревянкином ключе. Вышло все до смешного просто: собаки поставили ее под скалой, мы сбежались, придавили тигрушку вилагами

и ловко связали. Федька угнал тигрицу вверх по ключу, выстрелов она боялась. Семён еще и скажи:

«А мы трусили! Недаром говорится, что дело мастера боится...»

«А мастер дела»,— проворчал Макар.

«Пусть так, но такие деньги заработать враз, стоит и рискнуть. Я, брат, согласен еще десяток изловить. До денег большую жадность имею. На том и мир стоит, чтобыть рваться к богатству, к славушке. Живи человек в лени и спокойствии, то на кой ему работа. Тем мы и живы, что кому-то завидуем, кого-то хочем переплюнуть»,— бубнил Семен.

Есть в его словах правота. Есть. Тем и жив мир, что каждый хочет быть сильнее другого, краше. Понесли тигрушку. Но застала нас ночь на полпути. Наспех сгоношили срубик, туда тигрушку впихнули. Она там пошипела, пометалась и стихла. Дажить мяса из рук взяла. Оголодала. Поставили палатку. Растопили печурку, поели и легли спать. Собакам зверя оставили охранять.

Плох сон в палатке зимой. Пока топится печурка — тепло. Притухла — зубом на зуб не попадешь от морозища. Ждешь, кто первый не выдержит холода. Печурку подтопит. Только Басову все нипочем. Храпит, ажно палатка ходуном ходит. Храпеть он был мастак. К утру собаки подняли заполошный лай. Тигрица зарычала. Тигрушка завыла. Что началось: тигрица расшвыряла собак, двух с ходу порвала, прыгнула на палатку, смяла нас и спеленала. Собаки на нее навалились. Вой, стон, рев. От печки занялась огнем палатка. Проолифена была, потому дружно вспыхнула. Мы орем, рвемся наружу, двери ищем. Догадался Кондратий, вспорол палатку и первым выскочил. Винтовку прихватил. Мы же, окромя Макара, выскочили с пустыми руками. Горит и шаит на нас лопотина. Вспыхнул лапник, под бока мы его ломали. Начали рваться патроны. Выстрелила чья-то винтовка. Тигрица упрыгнула от огня, ревет за шеломанником. Кондратий дважды пульнул на рев, но промазал. Мы тоже бросились за кедры. Пули дзенькали мимо нас. Долго рвались наши патроны, пока не сгорела палатка и все, что было в ней.

Занялся рассвет. Тигрушку споро погрузили на волокушу и тронулись в Богополье. Думали на Деревянкиной пасеке сделать остановку, может, что даст старик из лопотины. Но его не оказалось на месте. Передохнули и потопали дальше. Вдруг наши собачонки навострили уши.

С лаем бросились в сопку. А оттуда рев, грызня, тигрица ловко расправилась со сворой и летела на нас. Басов и я бросились к дереву. Я запнулся за колодину и упал. Макар метнулся к березе. Но остановился. Кондратий и Иван открыли пальбу по зверю. Иван забрал Макарову винтовку. Но у них осталось в магазинах по два патрона. Промазали. Ружья пусты. Иван схватил рогатину, заорал:

«Гроба мать, не разбегаться!..»

Тигрица прыгнула на Ивана. Он подставил рогатину. Зверь попал шеей в развилку. Хрустнул черенок, сломался. Но дело было сделано: тигрица упала в снег, сбилась с полета. Иван толкнуй ей в пасть шапку, сгреб за брыластые щеки и вдавил башку в снег. Кондратий поймал за хвост тигрицу и тянет на себя. А тут и мы пришли в память, подбежали и тоже навалились. Начали вязать лапы. Но тут же почуяли, как зверь оседает под руками. Рванулась она всем телом и затихла. «Держите, это она притворилась!» — кричит Иван.

Но держать было уже некого. Окочурилась тигрица. Владыка дебрей не перенесла позора. Умерла в гордости. М-да... Умереть умерла, но и нас оставила без собак. Все они лежали рядком на снегу. Лежим и мы на снегу пластами, дух переводим. Кондратий поднял голову и говорит:

«Ну, Семен, словим еще десяток тигров?»

«Гм. А ну их к лешему. Самих чуть не словила».

«Зашибли деньгу,— бросил Иван.— Каких собак порешили! Мой Соболька и Верный мне еще бы немало соболей и колонков добыли. А теперича с кем пойду в тайгу? Ну их к богу в рай, ваших тигров. Я всю жистю охотился на малого зверя и сыт был. Пусть их ведмедь ловит. Курочка по зернышку клюет, и то сыта бывает».

«Слабо стало? Да?» — оторвал голову от снега Кондратий. «Нет, просто не вижу в энтом резона, живинки. Да и жалостливый я. Издох зверь, а для ча? Пусть ба жил. А то ишь ерои нашлись! Прыснули по сторонам, чисто белки. Иван спасай их. А сперва Ивана-то в дураки записали. Нет, хлопотное это дело тигров ловить... Я их не трогал, и пусть они обходят меня стороной. Проживу без них».

Так вот и отбила тигрица нашу охоту. Больше никто, окромя меня, не ходил на энту охоту.

— Расскажите, как там было? — снова загорелся Сережка.

— То уже неинтересно. Бригада была сработанной. Тигров ловили с небольшим трудом. Почти без опаски. Каждый знал, какую он лапу будет вязать, не метельшили и не толклись без дела.

— Много вы убили медведей?— спросил Сережка.

— Не считал. Думаю, за две сотни будет. Лесорубов, военных много лет кормил, опосля работал штатным промысловиком-охотником. Хлеб от того ел.

— А сейчас вы ходите на зверя?

— Бросил, Серега, бросил. Белковать еще хожу, но по крупному зверю отказал себе. Стареть стал. Жалейка в душе появилась. Да и зачем теперь мне охота, пенсию платят. В доме сытость и достаток. Для ча? Но, ежли случится беда, готов снова взять винтовку, как в войну, и буду кормить солдат, коль голод случится. Вот и надо бы нам годков на пяток прервать охоту. Совсем прервать, чтобыть при беде снова взять из тайги мясо. А то ить выйдет, что она пустой окажется. Вот и Андрей в войну не только своих сестер и братьев кормил, но и о соседях не забывал. В двенадцать лет такого медведя спроворил, что мы ахнули. Кабана колотил почем зря. Теперь бросил, рыбкой балуется. А почему? Потому что не видит в том резона. Не хочет быть свидетелем, когда добьют последнего изюбра. Да и нужды нет. Ведь каждый убитый зверь — энто сединка в сердце, ежли подходить разумно. Навсегда в памяти остается. Идет охотник на охоту — одна мыслишка: добыть зверя. Добыл, и радости нет, угасла. Зверь растет в тайге не для праздности, а для дела, но во всем должен быть разум и серединка золотая.

— Акимыч, расскажите, как вас чуть не задавил медведь?

— Такого со мной почти не случалось. У меня была боевая винтовка, а не дробовик аль мелкашка. А что может сделать медведь против такого оружья? Ничегошеньки. Пять патронов могут вылететь в миг, пять пуль. Кто устоит? Никто. За энто время успеваю всю тушу зверя изрешетить. Учеба деда Алексея не прошла даром. Окромя тигра, никто меня и лапой не тронул.

Акимыч умолк, грустно посмотрел на голубень гор, тайгу, дымчатую от зноя, тихо вздохнул и прилег на плащ.

Сережка тоже беспокойно завозился на траве, будто укладывался поудобнее.

— Вот она, тайга. Ваша тайга. Я свое отходил. А что вы сделаете с ней, похоже, не мое дело. А вот гложет червь

душу, и только. Не выковырнешь. Болит от того душа. Ну ин ладно. Вам хозяиновать.

— Ничего, Акимыч, не дадим тайге сгинуть,— бодро заговорил я.— Не дадим!

— Так тебя и спросили. Сиди уж, защитник. Можа, Сережка что еще успеет сделать? Думаю, к тому времени люди одумаются. Сейчас все будет идти своим чередом. На нас не посмотрят. Потому хватит воду толочь в ступе. За огнем приглядите, я чутка сосну...

Лимонный вечер догорал, опускался на тайгу. Снова, как и вчера, заливались птички в прибрежных кустах. День кончался. Завтра будет другой.

За мечтой

Поход за мечтой... Все это было давно, можно сказать, в далеком прошлом, когда я впервые пошел с Акимычем на поиски корня женьшеня. У каждого в жизни что-то было впервые: добытый зверь, найденный корень... На эту самую мирную охоту я шел с душевным трепетом. О чудо-корне я в детстве слышал много легенд и сказаний от друга Арсе. Он даже обещал мне показать свою плантацию, чтобы потом, когда мне совсем будет «плохо живи», я мог бы ее выкопать и продать. Но наши планы были нарушены. Арсе ушел в тайгу и исчез навсегда. Место его плантации осталось в тайне.

...Мы с Акимычем вышли из деревни Нижние Лужки. Побрели по пыльной лесовозной дороге. У каждого за плечами котомка, ружье, еловые палки. И до сих пор мне кажется, что я продолжаю брести по той же дороге, тайге, бреду и бреду — ищу свой корень жизни, себя, свою исторную тропу.

В тот день жарко полыхало солнце, отливали небесной голубизной сопки, треньками птички, бормотали свои нескончаемые сказы ключи. В этом шуме и звоне тайги до сих пор живет моя радость, мое невоспетое счастье. Как о нем рассказать, чтобы люди хоть бы минутку постояли рядом с моим счастьем, радостью? Самих бы их потянуло на поиски корня жизни. Свою, Рожденную сказкой, ушли бы искать.

Я вот и сейчас думаю, сколько нагадал мне Акимыч. Я тогда понимал, что его предсказания — легенда. Но за той легендой крылась мечта, зов в будущее. Думаю и о том:

пришло ли ко мне счастье? Принесла ли его мне Рожденная сказкой? И вообще, что такое счастье? Чем его можно оценить? Может ли быть оно? Может быть, его поэты выдумали? Как тогда мы выдумали Рожденную сказкой. Выдумка запала в душу — не вытравишь ее.

Акимыч не раз говорил: «Голова дадена человеку, чтобыть думать, чтобыть свою жар-птицу пымать. От головы-то и сделался человек непохожим на мартышку. Думай, Андрей, думай. Такое времечко пришло, что без дум мы — никто...»

Вот и я думаю. Вспоминаю тот сказочный поход за женьшенем, за счастьем и мечтой. Допустим, что я не нашел счастье. Может быть, его найдет Сережка? Найдут мои маленькие друзья.

Мечта звала в сопки. И я думаю, что только через мечту, которую мы ни на минуту не должны выпускать из рук, человек может найти свое счастье. Обязательно может, должен. И мне кажется, что я свою мечту поймал, хотя это тонкая-претонкая ниточка, которую опасно натянуть — лопнет. Но она ведет меня, она зовет меня. Пусть я продолжаю путаться в таежной чащобе, падать через валежины, усталый, но я иду, я бреду, обязан добрести до своего счастья, потому что Рожденную сказкой не каждый держал в руках, не каждый вот так уходил за мечтой.

В тайге было парко, как в бане. Нас жалили комары, мошка, оводы. Но мы шли, шли и шли. Я плелся позади корневщиков и смотрел на худую спину Семена. Он был старше меня на пять лет. Пять лет. За ними война, страх смерти, изломанная жизнь. Семен часто брюзжал, ругал фашистов, распроклятую жизнь. Я знал, что он был тяжело ранен. Надеялся, что скоро расскажет о своей ране, муках... Нет таких людей, которые не раскрылись бы у костра. Нет! В тайге люди быстро сближаются и доверяют многое друг другу. Горе свое обнажают до наготы. На минуту я забываю о Семене и любуюсь Акимычем. Я уже говорил, что он на удары судьбы смотрит просто: «Жисть — штуковина мудрячая. Даст те подножку, а ты не падай. Держись. Отряхни с себя пыль житейскую и на роздых в тайгу. Здесь все беды уйдут с росами. Только чтобы в голове были мозга, а не опилки. Ищи заглавную жилу и шуруй по ней на радость людям. Тогда жисть не будет нудьгой».

Я как-то спросил Акимыча, где искать ту жилу.

«Наперво в себе, а уж потом в людях, в тайге. Брехом собачьим делу не поможешь. Всякое дело надо рассуждать

без крика, без надрыва душевного. Душу сорвать легко, а вот как ее на место поставить, то мало кто знает».

Прав Акимыч. Кажется, чего же проще, как жить мирно и дружно. Но ведь мы не живем, мы порой транжирим силы по мелочам: на свары и ссоры. Есть у тебя цель — найти Рожденную сказкой? Ищи. Не распыляй себя, не трать силы на мелочи житейские. Иди прямой дорогой к мечте.

Наш путь лежал к Паромскому ключу. Там Акимыч раньше много корней женьшеня находил. Перед выходом так и сказал: «Найдем! Живинку в душе чую!» И мы идем за той живинкой. Ведет нас мечта и надежда.

Ветер изредка ворошил тайгу, перемешивал в небесной голубизне сизые облака. Запоздалые цветы отдавали горечью. В жизни так и бывает, наверное, когда опоздаешь, всегда на душе горчит. И горчит, потому что не возвратить ушедшее.

Устали. Акимыч объявил привал. Мы присели на подопревшую валежину. Молчим. Семен пристально посмотрел на меня, усмехнулся, глухо сказал:

— Эх, Ивушка, от того ты добр и счастлив, что еще ребенок!

— Какой же я ребенок, мне уже семнадцать лет.

— М-да. Парень сто сот стоит. В твоих глазах все прописано. Но знай, дружище, такие люди, как ты, всегда опаздывают на свои поезда. Тяжко опаздывать на поезда.

— Я не Ивушка. Я — Андрей!

— Нет, Ивушка. Сломать тебя будет трудно — таежник. Но гнуться будешь, метаться будешь, чего-то искать. А вот найдешь ли? Такие люди редко находят свою звезду. Тебе будет трудно жить на свете. Доброта, она-то и будет мешать. Люди будут на ней кататься. А потом, ты грустяга. Человек наивный. Веришь в доброе и светлое. Чепухе — веришь. Пропадешь. На поезд свой опоздаешь. Я бы не опоздал на поезд. Но остановили его на полном ходу. Шел за генеральскими погонами. За славой шел...

— Ну, чего заводишь себя?— заворчал Акимыч.— Парня сбиваешь с путя истинного. Не опоздает он на свой поезд. Заматереет и не станет гнуться. Друзья плечо подставят, ежелив что. Людям надыть верить.

— Не дуйся, дело говорю,— поучал Семен.— Акимыч прав. Людям верь, помогай, но присматривайся к ним. Хорошо присматривайся. Могут такое подсунуть — жизнь станет тошной.

— Не учи, сами с усами! — хмурясь, ответил я.

Семен, как все таежники, в разговоре был нетороплив. Учил меня по доброте душевной, готовил к жизни, как и Акимыч. Но я, молодой, задиристый, все это принимал, как издевку. Мне казалось, что он говорил с подковыркой, смотри, мол, что я знаю, а ты не знаешь. Не нравилось мне и прозвище. Какой я Ивушка! Бревна ворочать — первый. Себя считал великим охотником. Пусть не был на войне, но жизнь познал рано. Но на самом деле — мне надо было еще учиться и учиться таежной мудрости. Меня злил поучающий тон Семена. Я только и отдыхал, когда мы расходились на поиски женьшеня. Вспоминая прошлое, я признаю себя глубоко неправым. Я в чем-то завидовал Семену. Хотя бы в том, что он побывал на войне. Нашел чему завидовать! Потом, его таежные познания были шире, порой выводили меня из терпения. Семен часто смеялся и доказывал, что я из гибкой Ивушки вырасту хорошим дубком. Но часто сам же себе противоречил, забывал о том, чему учил меня, и начинал хандрить:

— Покажите счастливого человека! Покажите того, кто совсем-совсем счастлив. Ну, чего замолчали? Вот ты, Акимыч, счастлив? В чем же суть твоего счастья?

— В людях. В нас с тобой! — кричал Акимыч.— Только мы еще не научились отличать то счастье от беды! В том и счастье мое, что я с вами, что я живу, что под ногами земля!

— А ча кричишь-то? Знать, и ты не добрал своего счастья?.. Ну, как я бездарно потерял свое счастье под Орлом! Но можно, Ивушка, свою радость потерять и не на войне. Я на войне потерял. Мечтал стать генералом. Акимыч, а генералы счастливы?

— Поди, счастливы. А то как жить?

— Одна пуля — и все полетело к чертям собачьим.

— Ладно, охолонь. Еще не все потеряно. Может быть, и ты найдешь свой корень жизни.

...В вершине Паромского ключа мы поставили шалаш из еловой коры. Развели костер. Прибрали свое немудреное хозяйство. Дом готов.

Семен сел у костра, сутуля спину, о чем-то долго размышлял. Мы молча лежали на папоротниковой подстилке и тоже думали. Семен заставил. Но скоро я стал мечтать о первой своей находке — корне женьшене. Мне хотелось, чтобы он оказался граммов пятьсот, об этом напишут в газете.

— Эх, Ивушка, младен ты еще,— забубнил Семен.— Но ничего, скоро поймешь, в чем соль жизни. Хотел бы я посмотреть, как ты тогда запоешь. Ты думаешь, тот немец, который поливал нас из пулемета, родился убийцей? Нет. Он, может быть, в детстве боялся убить букашку-таракашку. Акимыч — как дуб. Он только и занят тем, что сеет, добрые семена, растит добрые корни. Люди его не забудут. Я — другой. Я — злой.

Семен замолчал свернул толстую самокрутку и задымил махоркой. Он курил, кашлял и бередил старые раны в душе. Не спалось и мне. Ночь, как жук-скоробей, медленно плыла над нами. Тихо, будто боялась вспугнуть наш сон, шепталась тайга. В небе позванивали звезды. Теленькали комары, будто кто трогал туго натянутые струны.

Утром Семен повеселел: стал добродушным, улыбчивым. Веселым был и Акимыч. После завтрака Семен предложил:

— Братцы, давайте искать корень по законам древних охотников: кто первым найдет корень, тот и пан. Но одно условие, чтобы корень был не меньше пяти листов. И будет счастливчик спать на мягкой постели, трубку курить... «Рабы» за него дров наготовят, ужин сварят, портянки постирают. Лады?

Акимыч улыбнулся в бороду, сощурил глаза:

— А для ча нам панство?

— Как для ча? В жизни главное — стимул, Акимыч. Зависть и желание быть первым, везде первым — это движет человечеством, рождает цивилизацию. Будь люди инертны — все стояло бы на месте.

— Не скажи,— вяло протестовал Акимыч.

— Вот те и не скажи. Не мечтай я стать генералом...

— Выходит, ты пошел на фронт добровольцем не без корысти? Так надыть понимать?

— Шел защищать Родину, но не забывал и о генеральстве. Только на войне можно скоро стать генералом. Все ушло в одно мгновенье. Ну, как с панством?

— Спытаем,— пошел на поводу у Семена Акимыч.

Я понимал: все это для того делалось, чтобы Семен не хандрил, и поддакнул, Семену:

— А если я найду корень первым?

Семен, удивленно посмотрел на меня, ответил:

— Найдешь — паном будешь. Но как ты отличишь простую траву от корня женьшеня?

— Выходит, я заведомо раб?
— Может быть, и так.

Семен ошибался, будто я не видел травы женьшеня. В нагрудном кармане у меня лежала открытка художника Бабанина, где он очень точно выписал листья женьшеня. Живые листья. Каждая жилочка просматривалась.

Акимыч молчал, наверное, соглашался с Семеном и считал меня подмастерьем. Перед тем как разойтись на поиски женьшеня, мы условились о сигналах, которые будем подавать еловыми палками, постукивая ими по дереву. У каждого корневщика еловая палка. Она, как связист и разведчик, опора при спусках с крутых сопок. Почему связист? Три удара по дереву — сбор. Частые удары — тревога. Один удар — хочу знать, где ты. Почему разведчик? Той палкой, если что-то показалось подозрительным, мы раздвигаем травы. Если найду корень, то должен громко кричать: «Панцуй!» Этот крик — радость и счастье для всех.

Корневщики-аборигены кричали на корень еще и потому, чтобы тот, завидев человека, не успел превратиться в другую траву. Крикнешь на него, он испугается и не успеет обмануть человека. Однажды Арсе мне рассказывал: «Нашел моя большой корень. Его буду тысяча лет живи. Мало кричал. Чего пугай старика? Трубка кури, думай. Потом трубка рядом положи, табак положи, ходи другой корень посмотри. Нету. Назад ходи. Нет корень, нет трубка, нет табак. Как живи? Плакал мало-мало. Кому Арсе плохо делал? Не знай. Айгу!»

— Куда же девался тот корень? — спросил я тогда у Арсе.
— Другой район ходи.
— Так и не нашли?
— Как не нашел? Находи. Другой год ходи, все находи. Его мало-мало гуляй и снова домой ходи.

Я не мог смеяться над наивностью Арсе. Пусть верит. Но то был Арсе, а вот наши люди, русские, тоже впали в амитизм. Говорили:

— Увидишь корень, сильно кричи. А то превратится в собаку-ягоду или другую рубашку наденет.

Семен махнул на меня рукой, как на безнадежного, и пошел в сопку.

— А если первым найду?
— Найдешь! Трогай! — засмеялся Семен.

Мы цепью шли по сопке. При поисках женьшеня основное внимание уделяют красной ягоде. Много раз при виде красной ягоды я едва сдерживал себя, чтобы не закричать: «Панцуй!» Ведь красная ягода есть у пионов, у собаки-ягоды. Арсе не раз говорил: «Собака-ягода — братка женьшеня».

В полдень Акимыч предложил опуститься в ключ пообедать. Звонкая вода прыгала с камня на камень. Я быстро умылся, до ломоты в зубах напился холодной воды и предложил поесть всухомятку. Акимыч заворчал:

— Не можно так, Андрейка! Сегодня кое-как поедим, завтра тожить, а откель силам браться? Сопки ее скоро вымотают. Наше не уйдет!

Мы не спеша сварили таежный чай, вскрыли консервы, подогрели в котелке, поели, даже прилегли отдохнуть. Нудьга зеленая! Тут руки и ноги зудят — хочется скорее найти женьшень, а они прохлаждаются. Наконец пошли на охоту. Парило еще сильнее. Вдали кричала желна. Ее истошное «пиииить» долго дрожало на одной ноте.

— К дождю кричит, окаянная,— уронил Акимыч.

...Я шел и очень внимательно осматривал травы. Они уже чуть пожухли, потеряли яркость. Засмотрелся и едва не наступил на змею. Это был щитомордник. Он поднял голову, зашипел. Нас в детстве учили не проходить мимо змеи, убить ее. Щитомордник свернулся кольцом и шипел. Я тронул его концом палки, затем поддел и отшвырнул в сторону. Блеснул он на солнце старой медью и шлепнулся в листву.

Вскоре мою тропу перегородили заросли орешника, повитые лианами лимонника, винограда. Я хотел обойти их, но когда посмотрел вниз — спускаться далеко, вверх тоже ползти надо порядком, решил идти напролом. Пошел. Десяток раз упал, запутался в лианах и подлеске, столько же раз помянул черта, его дедушек и бабушек до седьмого колена. Порвал штанину о колючки «чертова дерева». Потом выхватил из ножен большой нож и начал прорубаться. Запарился. С трудом прорвался на светлую полянку. И тут же упал в травы. На травах играли солнечные зайчики. Я лежал без движений и ни о чем не думал, затем перевернулся на спину и стал смотреть в голубень бездонного неба. Но долго лежать и предаваться неге я не мог. Перевернулся на живот и вздрогнул. Перед глазами стояла незнакомая трава. Тонкий стебель ее плавно покачивался, кивал мне шапкой красных ягод, звал полюбоваться красотой. Я на-

считал пять сучьев. На каждом сучке пять листьев. Все! Я пан! Я хотел достать открытку, но опустил руку и счастливо засмеялся. Все было и без того ясно. Я прижал к себе чудо-траву, прикоснулся губами к ягодам. Текли секунды. Я молчал. Свалилось счастье. Может быть, оно и складывается вот из таких минут, таких мгновений. А мы чего-то ищем, брюзжим.

Мне вспомнилась еще одна легенда Арсе. В детстве Арсе был для меня вторым отцом, товарищем в бедах и обидах. Все у него было просто, на каждый вопрос был свой ответ: «Каждый люди умирай. Один — простой трава, второй — лотос, третий — женьшень. Душа далеко не уходи. Она тут с нами живи...»

Чья же эта душа? Может быть, душа Арсе? Ведь он был добрейшим человеком! Все найденное в тайге отдавал бедным и больным людям.

— Вот мы и встретились, Арсе,— проговорил я с грустью.— Это твоя душа дорогу к дивным травам показала.

Я поднялся, осмотрелся вокруг и увидел еще десяток таких же трав. Это друзья Арсе поселились на светлой полянке. Арсе любил светлых людей, светлую жизнь звал к добру. Все травы женьшеня кивали мне петушиными гребешками. Хотел подняться и уйти. Пусть добрая душа Арсе живет на этой полянке, растит дорогие корни. Эта мысль, конечно, была противна охотничьей логике. Ведь я был не один. Мои труды — это труды моих друзей. Все добытое в тайге мы делили пополам. Я усмехнулся и, забыв ритуал переклички, громко закричал:

— Сюда! Сюда! Корни нашел! Скорей!

Я прокричал и снова лег рядом с корнями, чтобы вдоволь налюбоваться этой дивностью, неповторимостью. Нет, эти травы нельзя спутать с другими. Даже неопытный в этих делах человек, увидев такую траву, поймет, что это женьшень.

Вскоре послышалась забористая брань Семена. Он ругал чащу, в которую меня не иначе как черт занес. Это никак не вязалось с тем почитанием, каким окружал он эту траву, корни. Но надо было знать, что это был русский парень, старину он любил и почитал, но чаще на словах, как романтик. В душе он никакой чертовщине не верил. Послушать или рассказать легенду — любил. Но не больше.

И вот они подошли. Я смотрю на их лица. Боже мой!

Как они холодны и безлики! Подошли к травам будто к горелому пню. Акимыч, хмыкнув в бороду, сказал:

— А ни ча корешки! По траве видно — веские. Копать можно. Есть и пяти- и четырехсучковые.

— Да, корешочки, похоже, ничего. Посмотрим. Поглядим,— ровно бубнил Семен. Он снял котомку с плеч. Сел. Закурил самокрутку, пуская дым колечками.

Я едва сдерживался, чтобы не обругать друзей, не назвать их чучелами или еще какими-то словами. Ведь я ждал от них похвалы. Первая находка! Первая радость! А тут все было до обыденного просто. Подумал, что они мне жутко завидуют, хотя это было счастье на всех. Позже мне Семен рассказал:

— Если хочешь знать, я готов был тогда тебя расцеловать, но не мог. Закон, ритуал надо соблюдать. Нашел — молчи, потерял — молчи.

Но все это было потом. А тогда Акимыч скреб в бороде, хмыкал:

— Десять корней выкопаем, остальные пусть растут. Для других охотников надыть оставить. Через десяток лет и они порадуются находке.

— Почему? Выкопаем и мелочь. Я ее на базаре продам. Есть дурни — возьмут,— хихикнул Семен.

— А душу тожить туда понесешь?— посуровел Акимыч.— Кончай, Сема, не наводи тень на плетень. Раньше ты был чище.

— Раньше и вода была слаще...

— Может, и была! Но душу терять — не моги.

Копать мне дорогие корни не доверили. Мог испортить.

— Благодарствуем за то, что нашел,— рассудил Акимыч.— Отдыхай.

Так я невольно стал «паном». Но за работой друзей следил, учился у них мастерству, перенимал тонкую науку. Вот Акимыч отрыл головку корня, затем шейку, проследил, куда пошло основное тело корня, начал рыть под ним траншейку. Он копал тот корень, в котором могла быть добрая душа Арсе. Ведь он первым мне показался. Но так ли? Акимыч выкопал траншейку и запустил в нее руки, легким встряхиванием осыпал мелкие камешки, землю, чтобы лучше видны были корни трав и корни женьшеня. Акимыч, показав густое переплетение корешков женьшеня, проговорил:

— Каждый корешок надыть выпутать, не спортить, может пойти браком. Кожицу поцарапаешь — загниет. Внял?

Акимыч костяной палочкой из рога косули, словно хирург скальпелем, начал выпутывать корешки, мочку. Его движения были плавными и мягкими, только часто смахивал он со лба бусинки пота.

Первый корень добыл Семен. Не отламывая траву от головки корня, он подал его мне и, заметив на моем лице разочарование (корень был кряжист, коряв и ничем не походил на фигуру человека), сказал:

— Некрасивый корень. Крабом его зовут. Самый дешевый. Красивый, некрасивый — все это чепуха. Я убежден, что лекарственность корня надо ценить по весу. Чем больше вес корня, тем больше в нем лекарства. Я его на барахолке по пять рублей за грамм загоню...

Выкопал корень и Акимыч. Я, услышав сдавленный вскрик, обернулся. Акимыч был бледен, часто дышал, руки у него чуть вздрагивали, на иконописном лице застыла непонятная улыбка. Он долго смотрел на корень, потом, чуть заикаясь, заговорил:

— В рубашке ты родился, Андрей! Нашел корень, которому нет цены. Найти такой корень даже мне не доводилось. Это великое счастье. Старики сказывали, что, мол, кто найдет такой корень, тот найдет верного друга. Счастье! Мимо прошло...

Мы склонились над находкой. Корень в точности копировал фигуру человека.

— Это корень-женщина,— сказал Акимыч.— Женская душа в нем живет. Держи, Андрей, свое счастье, не потеряй. Не растряси в дальней дороге. Она у тебя дальняя и большая. Но не забывай, что жисть — штука скороспешная. Не медли в путя.

Я посмотрел на Семена. Он отошел в сторону, сел на травы и жадно засмолил самокрутку. Я держал корень, держал, как хрупкую вазу. Вдруг через этот корень мне повезет. Пусть в нем не душа Арсе, а девушки, а может быть, сильного друга в трудном пути. Легенды все же сделали свое. В закрайках души теплилось, что это добрая примета. Я отошел с корнем в сторону, глушил свою радость, хотя во мне все пело. Тело корня было ровным, чуть перехваченное в талии. Ни одного лишнего отростка, ни волоска: две руки, две ноги. Одна нога шагнула вперед, вторая отставлена назад, чуть согнутая в колене. Правая рука заломлена за голову, вторая ушла за спину. Будто эта красавица шла в волшебном, неземном танце.

— Корень-женщина. Вот две груди обозначились, длинная шейка. Чуть фантазии, и она заговорит. Я присел на валежину и ушел в мир сказок. Теперь понятны мне названия: корень-женьшень, корень-человек, корень-богатырь.

Звонкими молоточками звенят в моих ушах полузабытые слова Арсе: «Моя двадцать солнца ходи, потом еще десять. Так ничего и не посмотри. Моя подумай — панцуй ходи в другой район...»

Арсе месяц ходил по тайге, но не нашел ни одного корня. Смертельно устал, хотел есть. У него были сладкие пельмени, но он их есть не смел, они были приготовлены для горного духа — Липато. Найдет Арсе корень и покормит великого из великих. Арсе питался грибами, рыбой. Смерть подкрадывалась к нему на мягких лапках, брала за горло. Но Арсе был молод, ему не хотелось умирать. Остановился на берегу ключа, надергал удочкой пеструшек, поел и лег спать. С восходом солнца проснулся. Осмотрелся. И увидел, как на взлобке, здесь, в глухой тайге, шли в плавном, тихом танце семь красавиц. Назад отпрянул. Протер глаза. Но видение не исчезало. Чудный хоровод продолжался. Арсе замер, но скоро увидел, как красавицы одна за другой стали исчезать и на их месте поднималась трава женьшеня. Арсе понял, увидел, что сейчас исчезнет последняя красавица, превратится в женьшень, сорвался, закричал: «Панцуй!» Девушка вздрогнула и застыла на взлобке. Ждет. Арсе подбежал к ней, обнял. Сказал, что, мол, ты подожди, не уходи, я выкопаю корни и пойдем в мой чум. Красавица покачала головой и сказала: «Нельзя тебе их копать — это мои сестры. А потом, разве тебе мало будет одной жены? Ведь я одна буду тебя так любить, что ты забудешь про других. Я буду тебя любить сильнее, чем все семь. А сюда, сюда еще придет молодой охотник и тоже возьмет себе жену. Пошли. За ними скоро придут. Ну, пошли же!..»

Лесная красавица вывела Арсе из тайги. Долго жили они под крышей своего чума. Однажды Арсе ее обидел, приласкав другую, и все покатилось под гору. Черная оспа забрала детей, ушла из чума и лесная фея. Арсе остался один, без роду и племени, без счастья и времени. Больше он не женился, потому что тосковал по первой любви.

— Девушка, здравствуй! — прошептал я корню.— Оживи, и мы уйдем в дальние дали. Я тебе не изменю. Нет, легенда Арсе будет тому порукой. Молчишь? Но ничего,

я знаю, что скоро пересекутся наши тропы с тобой. Я буду любить, буду счастливо жить. Но ты приходи скорей!

В ответ тихо-тихо прошелестела листва, и тайга замерла. Ласковый ветер коснулся моих щек и ушел за горы.

— Ну, вот, Ивушка, стал ты паном. Жизнь внесла поправку. Не верили тебе, а ты такое отмочил, что многим будет невдомек. Живы еще чудеса в тайге. Не умерли! Нашел ты экстра-корень. По пятьдесят рублей за грамм возьмем. Восемьдесят граммов будет. Деньги. Шальные деньги. На остальное плюнь. Главное счастье в том, чтобы быть здоровым, сильным. Таежником быть. Эти дебри — наша беда и выручка. — Семен провел рукой по тайге, будто погладил ее. — Она может завести в такую глушь — не выберешься. Будь мужчиной — безжалостным и суровым, как наша тайга. Силу и суровость бери от природы. Не верь глупым приметам. Та примета нам подходяща, которая дает пользу.

— Нишкни! Замолчь, грю! — загремел Акимыч. — Ерундовину городишь! Плохому учишь! Выходит: «Бей, круши, однова живем»? Все под корень, все с корнем! А его детям что оставим? Шиш. Слушай, Сема, ты ить не такой как порой кажешь себя, так про ча же наущаешь на плохое? Эх ты, калина — горькая ягода. Не слухай его, Андрей, клади свое счастье в котомку и храни всю жисть.

Я пошел к кедру, чтобы содрать коры для конверта. Но так содрать, чтобы кедр остался жить. Этому тоже научил Акимыч. Сделал конверт, обложил стенки мхом, обвязал бечевкой и положил свое счастье в котомку.

Друзья продолжали копать корни. Но больше такого корня им не встретилось. Акимыч выкопал двухсотграммовый корень.

— Двести чистеньких, а вот ежели прикинуть, что такой корешок дает по граммику в год прироста, то и выйдет его жисть двести лет. Вона, какой коричневый, будто загорел. Старик. Потома надыть учесть, что он болел, спал, знать, еще полста лет накинем. Лекарства накопил — дай бог каждому. И человек бы мог столько жить, ежли бы люди делом занимались, а не драчкой. Все энти драчки — укорот жизни, не больше. Придет времечко, люди другими глазами посмотрят на себя и нас, дурней, помянут. Доброго-то в том поминальнике будет мало, больше горечи.

Корни уложили в котомки, посеяли семена женьшеня.

Надвинулись сумерки. Начинался дождь. Мы пошли к балагану. А когда пришли к спасительной крыше — разразилась гроза. Грозная. Буйная. Молнии секли тайгу, скалу, что стояла напротив нашего лагеря. При вспышках было видно, как разлетались по сторонам камни. Будто эта гроза задалась целью разрушить скалу. С грохотом падали сухостоины. Гроза проскочила. Но дождь не унимался.

«Рабы», не обращая внимания на дождь, готовили дрова на ночь. Варили ужин. Я было сунулся им помочь, но меня оборвали:

— Не суетись, Андрей! Ты — пан! — остановил меня Акимыч.

— Верно, Ивушка, отдыхай, — улыбнулся Семен.— Я бы на твоем месте уже десятый сон досматривал.

Я лег в балагане, пригрел боком сухую подстилку и уснул под монотонный перестук дождя. Во сне ко мне пришла Рожденная сказкой. Она вышла из кисеи тумана, проплыла в чарующем танце. В ней столько было грации, женской красоты, что я не мог глаз оторвать. Она поманила меня в тайгу, и я пошел. Говорила: «Пошли, пошли, мой милый! Там так хорошо, там, в тайге, так все чисто и мудро. Пошли! Я буду тебе рассказывать сказки, песни петь, танцевать. Ты — только любить меня. Нас тайга укроет, оденет и накормит. Ведь я таежная фея. Мне все ведомо, все подвластно. Вот перевалим эту сопочку — там мой дворец. В том дворце пахнет хвоей и медом, цветами и увядающей осенью. Но ты не бойся, мы сделаем для себя вечную весну. Вечную весну! Пошли». — «Иду»,— кричу я вслед Рожденной сказкой, догоняю ее и трогаю теплые руки. «Иди. Ты меня нашел, тебе и любить. Но помни о том, что тебе рассказал Арсе! Моя сестра оставила жить изменника. Я же превращу тебя в «чертово дерево». Идешь ли? Не боишься? Не бойся, дурашка, ты меня не разлюбишь. Я тебя заласкаю, замилую, забудешь, что есть на свете женщины, кроме меня. Не бойся!» — «Я не боюсь! Иду!» — закричал я.

— Андрей, чего ты полошишь нас? — тронул меня за плечо Акимыч.— Вставай ужинать. Разморило парня!

Я открыл глаза и не сразу понял, где я и что со мной. Над нами мерцали звезды. Гудела от ветра тайга. Гудела и звала в свои дебри. А может быть, это звала меня Рожденная сказкой. Стало очень жаль недосмотренного сна. Поужинали. Семен, поглядывая на меня, сказал:

— Я хочу спросить, в чем же соль счастья. А? Акимыч, ты, может быть, знаешь?

— Счастье в том, что человек идет за мечтой, за радостью. А коль кто ее потерял — энто уже несчастье. Знать, душу надломил, а как ее срастить, то и мне неведомо. Мечта, как и судьба, дается отродясь. Но не всякая сбывается. На твоем путя встала пуля, махонький кусочек свинца, оборвала мечтательную ниточку, и пропал человек. Пропал, потому как к другой мечте не прилип. Был бы ты енерал, могет быть, тожить не добрал бы до полного счастья.

— Теперь уж не в генеральстве дело. Мне бы Рожденную сказкой, работу по душе, света больше над головой. Есть у меня знакомый поэт. Книжки имеет. Поймал свою синюю птицу. А ведь и он нудится. То не так, другое не эдак. Запутался. Не знает, какие стихи хорошие, какие плохие. В своих стихах запутался. Пишет о земле и о земном. Сейчас в плохих поэтах числится.

— Знать, не добрал до генерала. Может быть, его счастье в земле, в тайге. Будь пахарем, но токмо хорошим. Смотришь, и счастья было бы больше, чем у поэта. Отпахался, значитца, пришел домой, присел на крылечко, передохнул, в баньке попарился, жбан медовухи, бабу под бок. И все трын-трава. На душе радость, все сполнил, жди всходов. Счастье — штука растяжимая. Поэт и генерал — запросто могут быть несчастными. Каждый должен выбирать груз по силе, дело по уму. Потому еще никому не ведомо, где то счастье лежит.

— Оно-то так,— согласился Семен.— Завидовать поэту и генералу нечего. Поэт мне рассказывал, написал вроде хорошие стихи, из души брал, а нашелся бездушный человек и расщелкал стихи, как орехи. Разгрохал — начисто!

— Тако дело мне неведомо. Не писал стишат. И писать не буду, потому воз не по силе. Мои стишата в тайге. Здесь не я пишу, душа пишет.

— Ты счастливый человек.

— Откель ты знаешь?

— Я вот думаю, что счастье и несчастье — это две случайности. Идет рядом человек, а ты не знаешь, кто он. Может быть, это и есть счастье или наоборот. Пуля просто летела, могла в землю запахаться, но угодила мне в легкое. Кто ее отливал? Все перевернула, судьбу и счастье спутала. Не дался, дурень, чтобы сразу ту пулю вытащили

из легкого врачи. Загнило. А ведь работал, жизни радовался. Геологом был. Камни и золото искал. Радовался. Бородищу носил. Любили меня. Любили и изменяли. Все нипочем. Теперь кому я нужен с одним легким? Не генеральство меня томит, а одиночество. Словом, не человек. Могу ли я быть счастливым? Нет, конечно. И вообще, у меня есть думка, что счастливыми могут быть только дети и дураки. Их ничто не тревожит, не нудит. Ты прости, Андрей, искал и я свою Рожденную сказкой. Не вышло.

— Расскажи, как это было?

— Неинтересно. В шестнадцать лет ушел на фронт. Боялся, что войну кончат без меня и я не стану генералом. На наш эшелон налетел немецкий самолет. Мы под березки сиганули из вагонов. Ливанула очередь, и я был таков... Женился было. Но понял, что зря. Она была хорошим человеком. Ушел. Не мог видеть ее вечно усталых глаз. Не переносил каждодневное хождение в больницу. Я калека, зачем же маять женщину? Когда уходил, просила остаться, умоляла. Знаю, что от души все шло. Но и я должен быть человеком. Теперь живет с другим. Он здоров, любит ее. Похоже, счастливы.

— Ну, будя души травить, давайте спать. Криком беде не поможешь. Я вот тожить считаю себя разнесчастным, потому как тайгу жалко, когда ее бездушные люди занимают траками. А для ча? Вроде и не для ча. Мнут, ну и пусть себе мнут. А жаль.

Я долго не мог уснуть. Семен враз предстал передо мной совсем другим человеком. Ушел. Оставил свою Рожденную сказкой. Может быть, он неправ? Но опять же, как он говорит, будто по пять — семь месяцев в году лежал в больнице. А ей ведь жить надо! Черт! Значит, для счастья очень много требуется человеку: здоровье, хороший и верный друг, горение, зов к мечте...

Потом я снова видел сон. Семен тянул свои руки к счастью. Вот почти дотянулся, но их отрубил тяжелым палашом фашист. Жуткий сон. Проснулся я с восходом солнца. Акимыч скубил рябчика и незлобиво бормотал:

— Ну, други, подурили, и будя. Солнце вона уже взошло, знать, конец панству. Ты, Андрейка, займись костром, а ты, Сема, воды принеси. Здеся всякая работа должна быть напополам, все дела и беды поровну. Не место панству в тайге. Оно у нас с царизмом не прижилось, а теперича и подавно не приживется. Не пустим.

Семен поднялся, растер травинку в руках, понюхал ее и, улыбаясь, со вздохом проговорил:

— Смачно пахнет! Землей пахнет! Хорошо!

Роса на травах и на деревьях играла всеми цветами радуги. Солнце выпуталось из хвои и покатилось над землей. После завтрака мы пошли на охоту. Мне очень хотелось, чтобы сегодня повезло именно Семену. Пусть бы он немного повеселел, нашел бы свою Рожденную сказкой, но Семен набрел на медведя, полюбовался космачом, потом как закричит:

— Тебе, косолапый, что здесь надо?!

Медведь рыкнул от испуга. Присел. Сложился вдвое и такого задал стрекача под гору, только тайга загудела.

Акимыч в тот день нашел один корень. Он был в четыре сучка, пятнадцать граммов весу.

Вечером снова мы говорили о счастье. Акимыч сказал:

— Пойдет Андрейка по следу Рожденной сказкой и придет к счастью.

— Я сейчас уже иду. Заронили вы мне мечту, вот и иду за ней. Только не знаю, в ту ли сторону иду.

— Правильно идешь. Так и иди. Найдешь свое. Легенды из пальца не высасываются. Они из души выплескиваются. Только иди ровно, не скисай, как скис Семен. Только ищи.

Только ищи! А годы летят, мелькают над сопками падучими звездами, гаснут их следы. Только ищи!

— Да, ты будешь счастливым. Везучим будешь... Ведь кто-то из нас должен быть совсем, совсем счастливым?

— Знамо, должен.

Ключ стал рокотать глуше, наступал вечер. Еще один вечер в моей жизни. Снова был крепкий сон. Пришло утро. Акимыч снова сидел перед нами и ощипывал рябчика. Журил нас:

— Эх, молодь, молодь, щурята-пискарята, так и жисть всю проспите. Рази ж есть еще ча чуднее на свете, чем погожий рассвет? Вот побродил по росам, вдвое сильнее стал. Силу неба перенял от рос-то. Духом таежным напитался, кажная жилочка жить просится. А вы дрыхнете. По мне ба хошь ни одного корня не нашли, главное, вот так пожить, надышаться, в рассветах накупаться.

— Хотел бы я видеть и слышать, как бы тебя отчитала тетка Настасья, если бы с пустыми руками пришел домой.

— Ни ча, баньку бы стопила, кваском поначалу напоила, а потом и стопаря водочки поднесла. Нам ить немного надыть.

— А к тому стопарю надо бы кусок мяса, жбан медовухи, хлеба белого, на хлеб масла,— гудел Семен.— Оно и пошло бы...

— Все так. Без стопаря — баня не баня. Деньги были мусором — им и останутся. Заглавная в нашей жисти — душа!

— Надоел ты со своей душой, Акимыч! Ну, что душа? Ты ее видел? А вот когда есть деньги, есть и душа.

— Ха, видел, а для ча ее видеть? Вот в те нет души и не будет, хоть сто раз ты будь генералом. Озлобилась она, скочевражилась. Ладно тебе с обуткой-то вошкаться, иди воды принеси, еще разок рябчатинкой вас угощу, и будя. Грят, что это едома царская. Знать, и мы цари.

— Цари, но не те. Цари знай себе по балам и пирам шастают, а мы по тайге. Цари! — зло протянул Семен.— Пока месяц здесь пробродишь, пóтом провоняешь, мошка поедом заест, дожди кости промоют...

— В том и радость, что мы не боимся дождей и пота. Тем мы и живы. Через пот всякая болесть выходит. Цари — люди хлипкие. А нам ча: пропотели, дождь промыл... Хыть ба носом зашмыгали. Нет, не берет нас лихоманка. А царишка, тот ба сразу скапустился. Плевать мне на царей и деньгу! Был бы роздых душевный и радость сердешная.

В начале августа у нас тысячи корневщиков выходят на охоту. Из этой тысячи, может быть, сотня найдет счастье, остальные придут пустыми, бородатыми... Но мы уже свое нашли, не будем в прогаре. Тем более я. Я нашел столько — петь хочется. Рожденную сказкой нашел. Если прав Акимыч, что она поведет меня через тайгу к счастью, то чего же еще надо?

Мы неделю сновали челноками по сопкам. Пройдем цепью в одну сторону — заворачиваем в другую. И все безуспешно. Тогда Акимыч сказал:

— Рожденная сказкой дается однова. Сегодня уходим в ключ Четырех Падей. Там я знавал корневые места. Авось пофартит.

И мы снялись с обжитого табора, пошли к Сихотэ-

Алиньскому перевалу. Шли сквозь чащи, переваливали сопки, сопочки, брели по речке, звериными тропами... К вечеру вышли на перевал. Поднялись на лысую сопку. Осмотрелись. Перед нами огромным ковром лежала тайга, тихая и притомленная. Кедры кивали кудлатыми головами, березы светло улыбались, по небу парусили тучки, тоже, наверное, спешили па свой ночлег. Мне невольно вспомнились слова Акимыча: «Оттого, дружба, здеся горы, что нутро земное усыхает, вот и морщится старушка-земля. Просто, и никаких ученостев...»

Я смотрел на первозданный хаос дикой тайги. С горбатых сопок в разные стороны разбегались ключи и рыли глубокие распадки. Они разбежались, потом начали сбегаться, чтобы влиться в речушки и побежать бесконечной рекой. Если судить по словам Акимыча, что морщится старушка-земля, можно сказать другое: здесь кто-то когда-то начал пахать землю сохой, расковырял, посмотрел на работу и бросил. Бросил, потому что у него не получилось борозды. Но я в этой дикости видел прекрасное, видел близкое, свое. Я рожден в этой дикости, в этой глухомани. Тайга всегда для меня была родным домом. Нас не пугали тайгой. Нас учили ее любить, холить... И все же это был всплеск гигантских земных волн, которые подняли горы до небесной высоты. Теперь эти горы навсегда застыли косматыми медведями-сидунами. Они млеют в голубой дымке знойного марева и тают у изломанной линии горизонта. И «пропал» человек, если хоть раз в жизни придет сюда. Когда-то «пропал» и я. Мальчишкой увел меня дед в эти сопки, дебри, вывел на самую высокую гору, показал тайгу и сказал: «Твое. Тут те жить. Беречь и гоить тайгу». Я глубоко вдохнул в себя неустойчивую голубизну. Спустились с сопки. Дед заставил меня испить из ключа холодной воды. Развел костер. У костра я уснул. Проснулся. Дед спросил: «Ответствуй: прилипла душа к тайге?» Я потянулся и выдохнул: «Навсегда!» И после того дня и почи, куда бы ни забрасывала меня судьба, тихая тоска по тайге зовет назад. И если бы это было в моих силах, я все бы бросал и спешил на свою добрую, таежную родину.

...Серебряные нити солнца пронизали тайгу и замерли зайчиками под деревьями. Акимыч широко улыбнулся, вздохнул и тихо промолвил:

— Хорошо-то как! Дышишь и не надышишься. А ты деньги, — повернулся он. к Семену. Тот промолчал. Его

тоже заворожила даль таежная. — Допрежь пойти сюда, надо бы себя спросить, для ча идешь? Мила тебе така щедрость аль нет? Ежели грязные руки и черная душа, то красоты не заметишь, и ласка сердце не тронет.

Солнце разметало снопы соломы по краям закудрявленных туч и скрылось за сопками. Небо подернулось лимонной корочкой. А мы сидим, будто чего-то ждем. И грустим и радуемся. Хотя у нас времени нет. Надо ставить табор. Молчим. В распадках осели сумерки. В небе вышала первая звездочка. Она кажется сиротливой и одинокой. А мы всё сидим. Не бог весть чем любуемся. Давно бы должны привыкнуть к этой красоте. Но нет. К доброму и красивому привыкнуть нельзя.

— Однако, пора топать,— рассудил Акимыч.— Пошли.

По склону задремавшей сопки мы сошли в ключик. Он робко звенел в вечерней тишине. Ключик-говорун тут же поделился с нами своими заботами, тревогами. Немного надо человеку в тайге: крышу над головой, охапку душистой травы под бок, веселый костерок, что одиноким парусником будет маячить в таежной темени... Мы быстро надрали коры, поставили шалаш, срубили сухой ильм и развели костер. Ильм тут же жарко запылал. Мы спроворили ужин, потом долго пили, будто священнодействовали, чай. Такой чай, который всегда заваривал Акимыч, дома не приготовишь. Когда закипал котелок, Акимыч бросал в него горсть ягод лимонника, потом строгал ножом лианы лимонника, сыпал сахар, но сыпал с таким расчетом, чтобы не засладить кислинку чая, снимал котелок с огня, накрывал его фуфайкой, томил минут десять, после говорил:

— Вот и готов богатырский чай. За дело, други! Пейте. Завтра, после такого чая, мы сорок сопок перевалим.

Акимыч выпил пять кружек чая и сказал:

— Вот и обжито место.

Сколько на моей памяти таких уже мест было обжито? Не перечесть. И все они были родными. Тайга становилась еще милее. Семен что-то снова приуныл. Молчал. Дымил махрой. Слушал ночь. Приятная истома охватила мое тело. Лежим у костра и слушаем тишину. Тишина... Настороженная и чуткая тишина. Но вот ее нарушил вскрик птицы. Прошумела листва под мягкими лапками, колонок или соболь прочапал мимо костра. Бормотнул громко ручей, ветерок прошелся по вершинам кедрачей. Небо вызвездило широко и крупно. Звезды, как в рыбацкой сети, запута-

лись в ветвях деревьев. В тайге они крупные и яркие. Пробуя голос, проревел первый изюбр.

— Скоро загудит тайга,— прошептал Акимыч.— Начнутся любовные дела у изюбрей. Будет и филармония и селифония.

— Симфония,— поправил я.

— Пусть так. Однако, послушаем.

Изюбр проревел и, не получив ответа, смолк. Акимыч бросил веточку ели в костер. Она вспыхнула, отпугнула черноту ночи и потухла. Ночь снова нахмурила брови, надвинулась на нас. Не боимся. Привычные. Кедры тянули свои мохнатые лапы к костру, будто просились погреться. Ели кивали мшистыми бородами, как рассерженные козлы, и тоже тянулись к нам. Но мы не можем всех обогреть. Плыла ночь, падали звезды. На сопке надрывно плакала ночная птица Квонгульчи. Акимыч повернулся на спину, проговорил:

— Там, где плачет Квонгульчи, есть женьшень. Эта птица всегда добрым людям его показывает.

— А разве мы добрые? — усмехнулся Семен.

— Знамо, добрые, а то как же. Скажи, кого я зряшно обидел? А ты, рази ж ты кому-то плохо сделал? Андрей, тот и вовсе добряк.

— Не захвали, Акимыч, испорчусь,— возразил я.

— Нет. Такие не портятся. Таким доброта дается отродясь. Захочешь быть разлетаем, и то не выйдет. Только плохого человека не тронет плач Квонгульчи. Мы же все от нее грустим. Душа в тоске пребывает. У меня, к примеру, одна забота: тайгу оборонить...

— Ты, Акимыч, будто вчера рожден. Хвастал, книжки читаешь, знаешь ход звезды... Но знаешь ли ты, что пустыню Сахару сделал человек? — вставил Семен.

— Да ну! Не могет быть.

— Все могет! Пустыню Каракум, может быть, тоже сотворили люди. Человек — он все может.

— Ты, Сема, того-этого... Ты про ча долдонишь? — закипел старик.

— А про та, что лес надо рубить...

— Э, да ты не наш, кажись, человек? Рубить надо, но как?

— Так, как рубим. Так и будем рубить.

Акимыч фыркнул, как медведь, и начал теребить бороду.

— Вот ястри ее в нос-то, чего она плачет, чего травит

душу, куда зовет — поди пойми,— проворчал он и зло покосился на Семена.— Такому она не должна показать корень. Зло ты говоришь.

Семен не ответил. Я слушал голос Квонгульчи, и тревога охватывала меня. Стали отчетливее слышны вздохи ночи, голос ручейка.

— Завтра мы найдем дорогущий корень. Ты, Андрейка, найдешь. Семену такое не дано. Супротив нас пошел,— на полном серьезе сказал Акимыч. — Сказка — сама по себе ложь, но и про нее забывать нельзя. Спите.

Спать так спать. Сон в тайге приходит сразу. Пусть где-то косолапят медведи, тигры-бродяги, таятся на деревьях леопарды, рыси... Нам до этого нет дела. У них свои заботы, у нас свои.

Проснулся я от утренней свежести. Солнце еще было за сопками, но первые лучи уже упали на противоположные вершины. В тайге тишь, росная капель. Тайга замерла в утренней торжественности. Стучали дятлы, будто выбивали морзянку, тренькали и звенели пичуги, шумно, вразнобой кричали кедровки, гуркали белки... Наш костерок едва тлел. Семен, раскинув руки, спал. Акимыча, как всегда, не было на месте. Он где-то бродил по тайге, силой таежной заряжался. Вернулся. Бросил мне под ноги связку рыбы, сказал:

— В ямке нашел харюзишек. Тьма их там. Речку перехватило, вот они и сбились в той ямке. Сколь надо наловил. Остатние пусть живут. Завсегда для расплода надыть оставлять кого-никого.

Уха. Чай. И мы были готовы выходить на поиски счастья. Залили костер, чтобы ветром не выдуло искру. В тайге сушь. Полыхнет пожар — не спасешься. Мы подвесили продукты на сучья, чтобы мыши не поточили котомки, взяли в руки палки и в сопки, на то место, где всю ночь тревожилась Квонгульчи. А вдруг там прячется еще одна Рожденная сказкой? Только зачем мне две? Не надо забывать историю с Арсе. Одна, и только одна. Ласковая, добрая, чистая.

Снова шли по склону сопки, до боли в глазах высматривали красную ягоду женьшеня. Но, увы, — не везло! Надо искать и искать.

Идем, слегка заламываем вершинки кустов, чтобы не проходить по старым местам. Искатели женьшеня тоже будут знать, что здесь были люди. Хотя, хотя такое часто случается на корневке, когда кто-то прошел, оставил мет-

ки, а ты идешь по тем местам и находишь целую плантацию женьшеня! Было у нас такое потом с Семеном. Поставили мы балаган у ручейка. Переспали и пошли в сопку. Вокруг балагана же не осмотрели. Пять дней бродили по сопкам, на шестой снялись и ушли. Я забыл свою ложку. Потом, через три года, меня позвал проверить найденную плантацию Дмитрий Щерба. И бог мой! Плантация была в двадцати шагах от нашего балагана. Ложка моя, алюминиевая, была на месте, подоткнута под крышу балагана. Я сказал Щербе, что это наш шалаш, моя ложка, он было усомнился, но когда прочитал на ручке инициалы, то долго бил себя по ляжкам и хохотал над нами, дурнями. Тысячи лежали у нас под боком, и мы не удосужились их взять.

Изредка собираемся покурить, передохнуть. В небе купались коршуны, лениво пролетали вороны, текли тучки, строили эфемерные дома, корабли, меняли свой облик ежеминутно.

— Пока живешь — думаешь. Сгниешь, не про ча все мои думы. Для кажного есть тупик, есть остановка,— проворчал Акимыч.

Сопка кончилась.

За узким распадком лежала гарь. Эта гарь, как лишай на здоровой коже, клином уходила за горизонт. Здесь десяток лет назад прошел верховик. Деревья умирали в огне, дыме, стоял гул, рев, умирали звери... В костлявых сучьях тонко пел ветер, путался в молодой поросли «чертова дерева», кудряшках березок, осинок.

— Одна спичка — и вон сколько выгорело. Можно пять городов построить,— грустил Акимыч.— Не бережлив наш человек.

— А может быть, от грозы? — спросил я.

— От грозы? Нет. Гроза без дождя не бывает. От грозы верховики не случаются. Низовик — может пойти. Полыхнуло в сушь...

— Женьшень тоже сгорел? — спросил я Акимыча.

— Знамо, сгорел. Може, где и остался на полянках, но не скоро взойдет, головку подпалило, болеть будет много лет. Корни лечатся. Они — как люди.

Повернули назад. Тайга замерла, насторожилась. С чего бы это? Вон даже бабочки перестали порхать по цветкам, осели комары, смолкли птички, только любопытные поползни продолжали зависать над головами. А так все затаилось.

— Надыть нам поискать крышу,— рассудил Акимыч и ходко пошел под гору.— Чтой-то все затихло. Знать, гроза бежит на нас.

Из-за гор вывернулась косматая туча. Утробно пророкотал гром. Шумнул ветерок. Снова тишина. Томительная и давящая тишина. Ворохнулась листва, будто ветер тронул ее невзначай. Силенку свою пробовал. Настраивался на нелегкую работу. Настроился. Басовито загудели кедры. Начали гнуться в дугу березы, шумно залопотали осины. Но это была всего лишь прелюдия. Секунда затишья и... Второй порыв ветра с такой силой надавил на тайгу, что все ходуном заходило. Грохнулся в два обхвата кедр. Треснула вершина ели, будто снаряд разорвался, ветер забросил ту вершину в развилку березы, расколол березу. Змеей прошипела молния, вспыхнул огонь на вершине сопки. Загорелся кедр на скале. Плюхнулась первая капля, величиной с горошину. Мгновение — и на тайгу обрушился картечный дождь. Он плотной завесой скрыл от нас сопки, даже ближние деревья. Стало темно, сыро, зябко.

Мы нашли себе приют в дупле тополя. Тополь был без вершины, почти без сучьев, но жил. Я подозрительно покосился на верх тополя. Акимыч, заметив мою тревогу, бросил:

— Не боись. Хочь и пообломала ему житуха вершину, но еще поскрипит. Скрипучее дерево долго живет.

Туча яростно секла тайгу. Но вот она выстрелила сильным зарядом, проскочила. Стали проявляться, как на пленке, вначале деревья, потом горы. Туча мелькнула черным хвостом и ушла за перевал. Тайга, взъерошенная и омытая дождем, отряхивалась, расправляла плечи. Ветерок играл листвой поверженных великанов, рассказывал сказки, но, похоже, уже из прошлого.

Мы переждали немного и снова пошли на поиски. Акимыч дышал глубоко и жадно.

— Дышите! — гремел он.— Глубже дышите! Силу грозы перенимайте. После грозы она завсегда прибывает.

Семен ответил:

— С одним легким много не надышишь.

И вдруг мы вздрогнули, услышав радостный крик Семена «Панцуй!».

— Пофартило? — спросил Акимыч.

— Сюда!..

Я почти бежал. Семен преобразился, глаза его блестели, на лице широкая улыбка, сам,— будто дождем обмыт.

— Ну, что, Акимыч, плохой я или хороший человек? — кричал Семен.

— Стало быть, хороший, ежли напетый Квонгульчи корень тебе показался.

— То-то!

Вот вам и легенда! Значит, не родилась она на пустом месте. Люди придумали ее не зря. Может быть, эта совка и верно стережет корень женьшеня, хорошим людям своим криком его нагадывает. Пойди узнай, что у нее на уме. Люди заняты собой, не до дум совок. Спасибо, Квонгульчи! Кричи, зови людей на поиски. Зови!..

Я бурно радуюсь. Пусть меня принимают за несерьезного человека. Пусть. Друзей у меня не будет от этого меньше. Увидел траву женьшеня. Два мощных стебля покачивались, отягощенные росой. Ягоды от росы еще больше кровенели. По горсти на каждом стебле. Корешок должен быть весомым.

— Но почему этот старик не посеял вокруг себя семена? — пожал плечами Акимыч.— Должны быть. Ить лет пятьсот прожил?

— Есть у него семья,— сиял Семен. — Вон молоди сколько поднялось! А потом, тут были года два назад корневщики, выкопали основную семью. А этот старик, видно, спал. Потом, он под кедрой стоит. Шишки могли часто калечить его головку.

Семен прав. Корень — нежное растение. Упадет на головку шишка. Наступит ли копытом зверь, отломит почку, которую этот корень заготавливает на год вперед. Будет спать. Ждать, пока новая почка вырастет. Случается и такое: потеплеет весной, женьшень даст всходы. А следом заморозки. Снова сон на год.

— Гриш, были корневщики? Почему же они своего письма не оставили? Даже копок не видно.

— Это были, Акимыч, тихушники, только для себя.

— Жаль, что таких людей в тайге появляется все больше и больше. Они после смерти — в собаку-ягоду превратятся, так, Андрей. Садитесь, передохнем, полюбуемся находкой, а уж потом за работу. Копать будет Андрей, а мы с тобой, Сема, еще поищем вокруг. Авось и потрафит,— гудел Акимыч.

— Я, копать? Да вы что? А вдруг испорчу?

— Не спортишь, видел, как мы копали, так и ты будешь копать. Не велика наука. Расчипать-то все одно надыть.

— Но может быть, на более дешевом корне?

— Нет, надыть расчинать с дорогого, чтобыть ты сразу привык к бережности,— твердил Акимыч.— Арсешку-то не забыл? Ить он был для тебя за отца?

— Разве можно забыть такого человека? Все думаю: где его плантация? Он хотел передать свое богатство мне, но не вышло.

— Для тебя он мог сделать все. Не успел. Но ты не забывай его. Хороший был человек!

Мне вспомнился тихий вечер, робкий говор обмелевшей реки. Арсе Заргулу и я сидели на берегу. Он, полузакрыв глаза, говорил: «Душа никогда не умирай. Она всегда живи. Умирай ее дом...»

Из сказанного Арсе выходило, что человек бессмертен. Умирает дом, в котором живет душа. Потом она переходит в другой дом, строит его и снова живет.

Анимизм Арсе был беспределен. Он был уверен, что исчезнет с лица земли зло — останется только добро. Тигр будет есть траву, жить среди людей, как живут собаки или кошки. Орлы не будут убивать птичек, ловить рыбу. Тоже травой будут питаться.

«Кругом буду совсем хорошо. Кругом буду хороший люди...»

Я тогда спросил, для чего, мол, у собаки-ягоды ягода тоже красная?

«Как тебе не понимай? Его красный потому, что она хочу нас обмани. Посмотри — душа радуйся. Подходи — все пропади. Душа шибко сердись. Палкой бей собаку-ягоду, ногами топчи».

Спорить с Арсе было бесполезно, спором своим можно было его обидеть. Каждому было ясно, что прекрасное видится только хорошему человеку. Плохой не сможет его увидеть и понять. Доброе зовет к добру. Мы все хотели быть такими же, каким был Арсе. Подражали во многом старому орочу.

— Люди не сказывают зряшно легенды, — заговорил Акимыч, не спуская глаз с корня. — Я так разумею, что ежли есть на свете болезни, то от них есть и лекарственные травы. Только, опять же нам энтим заниматься некогда. Химией травим народ. Взять женьшень. От ча он такую силищу имеет? А? А все оттого, что люди верили, что только энта трава спасет от смерти. Спасала. Есть в нем та сила, что могет спасти. Панты, те тожить помогают люду, излечивают болести. Желчью медведя — можно любую ра-

ну залечить, желудок поправить. А трав разных сколь, они ить мало нам ведомы. Таинств — край непочат. Ну, копай корень. Мы пойдем посмотрим, може, где еще есть. Пошли, Сема!

Я начал выкапывать корень. Никто не стоял рядом, чтобы подсказать. Но я делал все так, как делал Акимыч. Боялся неверным движением повредить дорогую находку. Взмок. Первая работа — всегда трудна. Но потом дело у меня пошло, я осторожно выпутывал корни женьшеня из корней трав. Копал и думал: «Вот еще кто-то вылечится от застарелого недуга. Быстрее побежит по жилам кровь, омолодит тело». Копал долго. Подошли мои друзья. Ахнули. Это был корнище-богатырь.

Акимыч содрал кору на конверт, уложил корнище в него, обвязал бечевкой, счастливо проговорил:

— Тыщу верст неси — не спортится.

Осталась самая благородная работа — посеять семена. Присели. Начали обсасывать мякоть семян женьшеня, чтобы зерно не загнило. Вы спросите, какой вкус? Свой, неповторимый. Чуть сладкий, чуть горький — вкус земли, вкус жизни.

Я вскопал ножом грядку, разровнял ее, и мы начали садить семена. Я смотрел на Семена, он — с застывшей грустью в глазах, с каким-то упоением, почитанием — садил семена, каждое зернышко рассматривал, утоплял в землю, прихлопывал ладонью. Ведь много лет пролетит над землей, прежде чем вырастут из этих семян дорогие корни. По грамму в год. Уже и Семена забудут, забудется и Акимыч...

— И все же нас кто-то вспомнит, придут на нашу плантацию и выкопают корни,— грустно сказал Семен.

— То так, придут, свою доброту проверят, — бубнил Акимыч.— Ить чем больше люди будут находить корней, вот так же сеять — они не убудут.

Сеяли каждый свой рядок. Семен в шахматном порядке. Я ровными рядами. Акимыч начертил ломаную линию и садил по углам. Но мы знали, что с годами нарушится наш строй, подрастут эти корни, дадут урожай и рассеют вокруг себя семена. Они потянутся за своими прародителями.

Акимыч бросил на голову кепку-блин и пошел писать письмо на двухэтажном кедре. Письмо в будущее. Оно читается просто. Десять затесок. Значит, охотники нашли корень в десять сучков. Посеяли семена. Ищите — все это

рядом. Найдете — сделайте то же. Тогда женьшеню расти миллионы лет.

Семен сидел на валежине, грустил. Вернулся Акимыч. В его глазах тоже была грусть, но к ней примешалась и радость. Грустил, что жизнь коротка. Радовался, что прожил не зря. Придут сюда люди. Найдут наши посевы и будут счастливы. Может быть, Сережка, которому будет столько же лет, сколько сейчас Акимычу, а может быть, его сыны или внуки.

Я поднял глаза на сопки, чтобы навсегда оставить в памяти это место. Сопки дремали. Вдали щерили гранитные зубы скалы. Мне показалось, что они усмехались таинственно и иронически.

— Вы расскажете о нас, скалы? — спросил я.

В ответ качнулась тайга, зашумела.

Сережка и медведь

— Что-то с Сережкой творится неладное,— сказал мне при встрече Акимыч.— Звал его на рыбалку, а он не идет. С ча бы это?

— Мало ли что, может быть, чем-то другим увлекся? Пойдем одни.

— А вот и не пойдем. Пойдем за Сережкой. Он, варнак, что-то от нас скрывает, тайком уходит в тайгу, мать волнуется.

— Выходит, мы будем за ним подглядывать?

— А честно будет, ежлив ему что-то грозит? Ить он наш друг. Как ты такое рассудишь?

— Когда он уходит в тайгу?

— С полудни, тайком от всех торопится в сопки.

День был жаркий. Сережка (за ним мы подсматривали из окна) вынырнул из-за калитки и щуренком промелькнул вдоль забора. Мы вышли из моего дома и заспешили за ним следом. Вот он поднялся на взлобок, обернулся. Мы успели спрятаться за дубы. Сережка побежал вдоль сопки. Мы его скоро потеряли. Но Акимыч хорошо читал следы даже по черной тропе. Шли по следам, где найдем примятую травинку, тронутую ногой старую листву, пригнутый кустик. Шли долго. Наконец, перевалив сопку, мы вышли в березняк. Здесь березки окружили чистую полянку, будто

обняли ее. Акимыч резко дернул меня за рукав. Я присел на корточки. Акимыч показал рукой в угол полянки. После того что я там увидел, меня обдало холодом. Сережка возился с медведем. Вначале показалось, что медведь ломал мальчонку. Но когда мы присмотрелись, то стало ясно, что они играли. Медведь, обняв Сережку, перекатывался на спине, ласково уркал. Сережка счастливо смеялся.

— Господи, такого чуда я еще не видывал. Это как жить понимать? А?

— Вот уж не знаю, как и понимать.

— А что будем делать?

— Пока ничего. Пошли тихонечко отсюда, а завтра придем раньше Сережки и все просмотрим...

На второй день мы затаились под скалой. Сережка пришел ровно в два часа. Из-за березок вышел на задних лапах бурый медведь. Они с минуту постояли друг против друга, а затем медленно пошли навстречу. Минуты остановились. По спине прошел легкий холодок. Человек и зверь сошлись. Сережка обнял медведя, они долго стояли и раскачивались, затем медведь упал на спину и начал кататься, не отпуская из объятий Сережку.

— М-да, — протянул Акимыч. — Ради такой дружбы стоит жить. Зверь и человек. Это не доходит до моего разума. Ну ладно там птичка, косуля аль прирученный медвежонок, но ведь это огромадный зверина, в нем чать пудов десять будет. Жамкнет Сережку — и нет мальца. Мало ли что?

Акимыч не успел договорить, как сбоку грохнул выстрел. Медведь вскочил на задние лапы и загородил собой Сережку. Грянул второй выстрел. Медведь ухватился лапой за грудь, протяжно заревел и собакой бросился на человека, который стоял за березой и палил из винтовки. Медведь не добежал до человека, сунулся мордой в траву и забился в конвульсиях. Сережка с криком бросился к медведю, упал на него, теребил за шерсть, что-то кричал, пока, сбитый лапой, теряя сознание, не скатился со спины.

Мы наперегонки побежали к зверю. Акимыч поднял на руки Сережку, тряс его, дул в лицо, но Сережка не подавал признаков жизни.

К нам подошел охотник.

— Сволочь! — неистово закричал Акимыч.— Кто тебя просил стрелять в зверя?

— Так ить он давил мальца. Я хотел его спасти.

— Эх ты, дура! Аль заколодило у тя в голове, аль ты не дошел умом, что они играли?

— Не дошел! Видит бог — не дошел! — оправдывался охотник.

— Понесли в больницу, мало того что сгубил зряшно зверя, так еще и мальца убил. Помогай! Вахлак ты — не охотник!

Сережка в больнице пришел в сознание, но ни с кем не хотел говорить. На людей смотрел зло, лишь Акимычу все рассказал.

...Сережка пошел по грибы. Вышел на полянку и тут же увидел медведя. Медведь лежал на боку и часто дышал, злобно косил глаза на мальчишку. От медведя несло зловоньем. Сережка смело подошел к зверю и увидел на правой лопатке рваную рану. Рана гноилась, роилась мухами и кишела белыми червями.

Сережка, не раздумывая, побежал домой. Выпросил в аптеке несколько пакетов марганцовки, пенициллиновой мази и снова побежал на полянку. Зверь лежал в той же позе.

— Потерпи, миленький,— начал приговаривать Сережка.— Мы сейчас промоем рану, залепим мазью, и ты будешь жить.

Зверь лежал и не трогался с места. Сережка смело начал промывать рану. Зверь зарычал.

— Не рычи, тебе же хочу помочь,— снова начал уговаривать зверя мальчишка.

Зверь притих, будто слушал человека. Сережка смело чистил рану, выбрасывал гнилое мясо, промывал марганцовкой. Промыл, как мог. Затем залепил рану мазью, отошел от зверя. Медведь лежал и часто хакал. Сережка сбегал к ключу, принес котелок воды, медведь начал жадно лакать воду.

Ушел домой. Дома раздобыл, тайком от родителей, кусок мяса, пачку сахару, накормил медведя. Зверь съел и благодарно лизнул мальчишке руку.

Страшно было Сережке, но он выхаживал зверя. Через неделю рана у медведя стала подживать. Он поднимался, уходил с полянки, рыл корни и ел их. Но в два часа дня, когда Сережка возвращался из школы, медведь уже ждал его. Так началась дружба — человека и зверя, которая оборвалась по вине человека.

...Сережка вылечился от нервного потрясения. Мы снова ходили с ним на рыбалку. Там он сказал:

— Буду учиться на охотоведа. Все силы отдам, чтобы защищать тайгу, зверей. Медведь же понял меня, что я ему друг. Поймут и другие.

— Я тоже в этом не раз убеждался. Ты прав.

— То так, по только человек завсегда будет брать из тайги мясо,— вставил Акимыч.— Пусть берет. Но с оглядкой, чтобы тайга не скудела. Так же, чтобыть совсем не трогать зверя,— нельзя.

Пролетело несколько лет. Сережка закончил десять классов и уехал учиться на охотоведа в Иркутск. Мы надолго расстались. Встретились, когда провожали Акимыча в последний путь...

На последней тропе

Сопки плотным кольцом окружили поселок и полыхали осенними красками. Я знал, что там, за сопками, поют песни быки-изюбры, зовут на бой соперников. Знал, но какое-то безразличие вселилось в меня. На охоту идти не хотелось. Причин тому много: зверя стало мало, лицензии мне не продали... И правильно сделали. Время отпускное. Сижу, тревожусь, не знаю, чем себя занять. На корневку идти уже поздновато, с рыбалкой тоже сорвалось, рыба из речки ушла. Остались одни пеструхи-дурочки, в палец длиной. А кто из таежных рыбаков позарится на эту рыбешку? Позор, да и только. И вдруг... Степан Акимыч тяжело поднялся на крыльцо, присел на верхнюю ступеньку, прищурил глаза и глухо сказал:

— Нудишься. Дело знакомое, вот и я в нудьге пребываю. Може, на охоту сходим. Дали вот мне лицензию на отстрел бычишка. План у них завалился. Вот и дали. Пойдем, а? Последний разок. Разок — и все! Понял? Все!

Я молчал.

— Ну, чего молчишь? Ну, давал я зарок. Мало зверя. Дык ить я с пеленок охотник. Понимать надыть! Судить всяк может, а понять не кажный. Всего одного бычишка трахнем, и баста! Ну чего молчишь? Ответствуй! Ну!

— Не нукай, Акимыч, еще не запряг.

— Не хочешь? Може, я тожить не хочу, а ежли надо, то как?

— Кому надо, тот пусть и идет.

Все дело испортила моя супруга, вышла на крыльцо и сказала Акимычу:

— Не верьте ему. Он уже полмесяца чистит свою фузею. Места себе не находит. Ломается он перед вами.

— То ль я не вижу. Все вижу. Ну, так идем?

— Ладно уж!

И вот мы идем с Акимычем по расцвеченной тайге.

— Крык! Крык! Крык! — тревожась, кричал бурундук.

— Чу-чувыть, чиу-чиу, выть-выть, тий-тиу,— голосисто заливалась над головой невидимая птаха.

— Ты уж меня не обессудь. Иду тропить последнюю тропу. У каждой песни есть конец, у каждой тропы — устье.

И краски, пусть они ярки, неповторимы, пусть не в силах художники подобрать к ним палитру, пусть радостно заливались пичуги, лопотали о своем ручьи, но на душе как-то было нескладно. Нескладно потому, что Акимыч шел тропить свою последнюю тропу, добывать последнего изюбра.

— Что делать? Жизнь — миг. Жаль одного, что только к концу этого мига приходит мудрость, а тут пора и веки закрывать.

Падали листья. Падали, и казалось мне, что они, как и Акимыч, о чем-то тревожились. И от всего этого мне чуть жутко. Последний костер. Последний выстрел. Последняя тропа...

И вообще, если бы даже не сказал этих слов Акимыч — осень на меня всегда действует как-то удручающе, несмотря на мягкую погоду, многокрасочность тайги. Может быть, потому, что везде я вижу увядание. Каждый листочек перед смертью хочет вырядиться в самый дивный наряд. Не так ли делают люди? Точно так. Перед смертью даже злодей хочет остаться в глазах потомков человеком. Хочет, но не каждому такое удается.

Шепчет грустно листопад. Мы прошли верст десять и присели отдохнуть. Я сел под кедр, на мягкие и сухие хвоинки. И вот с таким настроем слушал шорохи засыпающего на зиму леса. Лег, подставил разгоряченное лицо солнцу. Хорошо. Как бы там ни было, а все же осень самое емкое время года. Я даже по осени измеряю свои годы. Пройдет она, и на душе тревоги прибавится: что сделал, что успел в жизни?

Стал смотреть на кряжистый дуб. Он стоял на крутом

обрыве, косил глаза в пропасть, там змеилась речушка Южная. Дуб тоже будто задавал себе вопрос: что я сделал за свои пятьсот лет? Многое он сделал: отвоевал себе место на скале, рассеял вокруг дубовую поросль, раздробил камни, чтобы посеять туда свои семена.

Дунул ветерок. Затревожилась тайга. Сыпанула многоцветье на землю. Лишь кедры тихо качнули кудлатыми головами, спокойно и мудро прогудели...

— Ча-ча-ча-ча-чок-чок-чок,— закричал дятел, деловито обстукивая дерево.

Мы поднялись и пошли дальше. Впереди слышался грохот бульдозеров, тракторов, мотопил. Лесорубы заготовляли деловой лес. Мы подошли к лесосеке. Один за другим падали великаны-кедры, подминали под себя молодняк. Кедры тут же цепляли трактора и волоком тянули к лесоскладу.

Акимыч направился к домику лесорубов. Там мы застали мастера участка. Он сидел на чурке и что-то писал в своем блокноте.

— Все пишешь, Сергей Исаич? — хмыкнул Акимыч, смахнул с другой чурки чьи-то рукавицы и сел.

— Пишу, Акимыч. С того и хлеб едим.

— Скажи-ка, дружба, ежли я тебя счас торкну из ружья, что-нибудь сменится в тайге?

— Придет другой мастер и так же будет писать, сколько завалили кедер, сколько еще осталось завалить.

— А вот то, что вы изломали тракторами, изгадили тайгу, ты не записываешь?

— Нет.

— Значит, торкать тебя без пользы?

— Знамо, без пользы. А что, мне дали план... Тут, Акимыч, другие машины нужны, добрые, умные машины, такие, чтобы осторожно подходили к кедру, захватывали его в клещи, спиливали и осторожненько выносили к дороге. Но это уже дело ученых людей. Наше дело пилить. Ну, будь здоров.

Уже выходя из домика, Акимыч сказал:

— И торкнул ба, ежли что-то изменилось. А так,— махнул рукой и заспешил по тропе.

К вечеру мы вышли к реке Южной. Здесь и развели костер. Устроили лагерь. А тут и солнце припало к сопкам. Тучка его накрыла. Рванул тугой ветер, поднял листовую метель над тайгой, принес шум и разноголосицу. Вдали зарычали громы, заметались молнии, качнулись

хребты старого Сихотэ-Алиня. От всей этой сумятицы, неуюта казалось мне, что они, хребты, вздыбятся морскими волнами, раскатятся, затем ударятся друг об друга и каменным крошевом рассыплются у наших ног. Но ничего страшного не случилось. С громами и молниями сыпанул упругий дождь и тут же оборвался, отглянцевав тайгу.

Акимыч молча сидел у костра. Молчал и я.

— Зачем спешим? — бормотал Акимыч. — Зачем все спешат? Весь мир спешит. А при спешке завсегда мало время подумать. Раньше, бывалочи, запрягу я Каурку и поехал в Спасск на ярманку. Три дня трушу на саночках, песни пою, землей любуюсь. Любо-дорого. Приеду на ярманку, куплю что надыть, а потом в кабак, там тожить без спешки пьем чаи, спирт, душеспасительные беседы ведем. А счас за пять часов на машине пробежишь, и все говорят, долго. А ежлив на ероплане, то и за три часа можно дочапать. Что говорить — Москва стала рядом. Оно и хорошо вроде ба, а ежлив подумать, то кто знат, сколько можно дырявить небо? Вона, ракеты, спутники, космические корабли — все в небо. Аль на земле хлопот мало?

— Вот и летят те спутники в небо, чтобы землю ближе познать. Прекрасное видится издалека. А потом, разве можно остановить машину, которая уже пущена на весь ход? Ты жил в одной цивилизации, теперь пришла другая. И если бы мы ездили на Каурках, то нас бы скоро стоптали. Жить в окружении врагов, надо самому быть сильным.

— Оно-то так, но пусть мир поймет другое, что все эти войны, драчки не больше как детские игрища. Куда более страшное ждет нашу землицу, к примеру, разор природы. Все делаем в спешке, без оглядки. Надо, вот и делаем. Ты видел пятнистых оленей? Повадки их знаешь? Нет. Скажи, для ча у них на крупе белая салфетка? Не знаешь? А для та, что когда испужаются те звери, еще шире раздуют ту салфетку — и драла. Впереди ведомый, они следом, все смотрят в зад ведомому, а тот с перепугу-то и повел все стадо в пропасть. Сам слетел, а второму оленю невдомек, куда делся первый и тоже вслед за ведомым. Так все стадо и сорвется на камни. А вот чутка подумай бы второй, куда сорвался первый, он мог бы спасти все стадо, отвести от пропасти. А он не думал, за него думал ведомый,— закончил Акимыч и начал раскручивать трубу-берестянку. Раскрутил, замочил в воде, приложил к губам

и сильно заревел, копируя рев быка-изюбра. Долго плескался звук трубы над сопками, ложками и распадками, пока не запутался в таежных дебрях. Мы стали ждать ответного крика. Но в тайге было тихо до звона в ушах, молчала тайга, звенели комары. Акимыч буркнул:

— Молчат, ястри их в печенку! — положил трубу на котомку.

Ночь. Пора спать. Я лег на хвойную подстилку, как всегда, поперек Млечного Пути. И не случайно. Однажды на охоте с моим другом Арсе мы устроились на ночлег. Я уже улегся, но он тут же поднял меня, перестелил постель, показал на небо, начал объяснять, почему нельзя ложиться так, как лег я. «Его самый большой река. Всякий река, когда хочу гуляй на берег, тебя хватай и ты пропади буду...» Понимать эти слова надо было так, что, мол, ночью Великая Небесная Река может выйти из своих берегов и взять с собой человека, унести в царство мертвых. А когда человек ложится поперек реки, он делается мостом, а мосты редко ломает даже половодье. Все это звучало по-детски, наивно, однако я с тех пор, так, на всякий случай, стал ложиться поперек Небесной Реки. Больше из почтения к своему великому другу, другу детства, который первым привел меня в тайгу и рассказал о ее законах.

Я лежал и смотрел на Млечный Путь. Все это пока для нас тайна. Ради этой тайны мы запускаем в космос спутники, высаживаемся на Луну...

Акимыч поднялся, снова взял свою трубу, запел, загудел, но в ответ — все та же тишина, стоящие звуки, которые проглотила тайга, тайга пустая, тайга безлюдная.

Акимыч проворчал:

— Молчат. С чего ба?

Я не ответил и как-то невольно вспомнил детство. Деревушка Нижние Лужки. Ее обступили сопки. Под боком текла речка Фудзин. И вот когда наступала осень, то над сопками стоял неумолчный рев изюбров-самцов. И мы ждали те дни, когда они заревут. Ждали потому, что у каждого из нас был свой любимец, свой ревун. Мы их легко узнавали по голосам. Ведь и звери имеют свой голос.

У моего Яшки был могучий бас. Когда он подавал голос, то другие тут же замолкали. Мы все представляли его могучую грудь, широченную шею, огромные развесистые

рога... Яшка мне достался по жребию. Я вытянул Яшку, и он был для меня другом в течение трех лет. Три осени я ждал его крика. Хватал трубу и отвечал ему тонким голоском.

И вот он смолк. Мне было тогда уже семь лет. Я ждал день, другой, третий, но Яшка молчал. Мы лежали на сеновале, каждый отмечал голос своего друга, а мой молчал. Меня никто не успокаивал. Все знали, что помочь нельзя, что чья-то пуля оборвала Яшкину песню. Много ночей я пролежал тогда молча, в глубоком раздумье. Так и не дождался голоса друга...

— Молчат,— снова буркнул Акимыч, сорвал травинку и начал ее жевать.

— А может быть, здесь нет зверя? Отошел в глубину.

— Все может быть.

Ветерок наносил на нас дым. Дым сильно горчил. Акимыч вдруг вскочил и закричал на меня:

— Ну, чего как барин развалился? Нет, чтобыть подшевелить бревна. Лежит! Ишь, как дымлят!

— Ты встал, вот и подшевели.

— У, лодыри! Лень умом пошевелить, оттого и всякая нудьга на свет рождается.

— Пусть мы лодыри, а при чем тут дым?

— А при том, что здесь двадцать лет назад тайга стоном исходила, а счас молчит. Изюбрей было как мошки.

— Может быть, к непогоде молчат?

— Вёдро будет. Вона, как звезды высыпали.

Акимыч сел на бревно и затих. Слышно было, как шипели бревна в костре, да приглушенно лопотала речка Южная.

— Теснит человек зверя-то. Теснит. Давно ли табунами ходили, а уже нету. Нету, говорю! Ну, чего молчишь?

— Криком делу не поможешь. Думаю.

— Думаю, — сердито пробасил Акимыч. — Не думать надыть, а что-то делать.

— Проще простого — у всех ружья отобрать и вместо них дать рогатки. Вот и вся работа. Пусть охотники пуляют из рогаток по медведям.

— Може, и рогатки. Но ить охотника-то не убьешь, он в душе им и останется. Почнут из рогаток воробьев бить. Всех переколотят. Ай, язва, вот укусил так укусил, — выругался Акимыч и звонко хлопнул себя по шее.—Комары-то в тайге не переводятся.

Помолчали.

— Ну, скажи, есть ли у тебя дельная думка? А?

— Есть. Помнишь, мы с тобой корневали по речке Поперечке? Шалаш наш стоял у самой речушки. Рядом было гнездо утки-мандаринки. В дупле жила. Потом мы ее и выводок хлебом подкармливали. Не боялась она нас, потому что мы ее не трогали. А утята у нас воровали хлеб.

— Даже очень помню.

— А помнишь, к вам на помойку летали фазаны? Ты их кормил. Потом опи у тебя брали еду из рук. Особенно петух. А медведя и Сережку?

— И это помню. Петуха убил поленом сосед. Сволочь. Как убил петуха, так и другие перестали ко мне летать. С медведем тожить вышла поруха...

— Значит, нам надо просто никого не трогать, и зверь будет приходить в поселки, реветь за околицами, радовать людей. И всем хватит места на земле.

— А как же охотники? Ведь другому не столько хочется мяса добыть, сколько зверя погонять, оскомину сбить.

— Пусть сбивают рогатками. Другого я придумать ничего не могу.

С кудлатой сопки мы услышали отдаленный стон. Акимыч схватил трубу и заревел. Ревел он в берестянку со всхлипом, стоном, с изюбриной страстью. Бык ответил.

— Ага, есть один! — закричал Акимыч. — Хватит, боле блазнить не буду. Подождем утра, не то пойдет на костер, и мы его одушим. Может уйти далеко. А ты говорил — непогода.

— Один, один на такую долину? Ха! Не маловато ли?

— Нам хватит. У нас все по закону, у нас лицензия,— ворчал Акимыч, укладываясь у костра. Натянул фуфайку на голову и, казалось, задремал. Но скоро заворочался и заворчал:

— Один, значитца. У нас лицензия. Все по закону. В прошлом году несколько тыщ десятин тайги сгорело. Не могли затушить, покедова дождь не пошел.

Было такое дело. Тайга горела несколько дней. Даже автомашины не ходили, настолько было дымно и темно. Вся кедровая молодь выгорела.

— Читал я в газетах, что во Франции наши летчики лесной пожар потушили...

— Эх, Акимыч, светлая твоя душа! В одно я верю, что даже вода камень точит. Придет время, и возьмутся за браконьеров, пусть это будет частное или производственное

браконьерство. Может, пока до этого руки не доходят, но, я думаю, дойдут.

— Думай! Энто мозги просветляет. Но помни о главном: всяк живущий на земле должен знать, что земля — это его дом, что он обязан держать душу в доброте, а тело в чистоте. Понял?

— Чего уж там не понять, растолковал, как великий мудрец. Давай спать.

— Спи.

— Акимыч, а Акимыч, был я на Чукотке, там вовсе нет тайги, а ведь живут люди? Обойдемся и мы без изюбров.

— А без головы? А? Если сможешь, то твоя взяла, нет — то нишкни. Спи! Спозаранок подниму.

Проснулся я, когда уже поблекли звезды. Акимыч сидел на сутунке и о чем-то думал. Спал ли он в ту ночь? По всему видно — не спал: плечи были устало опущены, под глазами синие круги. Увидел, что я проснулся, начал собираться на охоту. Залил костер. Взял ружье и первым пошел по тропе. Я следом. Акимыч изредка останавливался, ревел в трубу, но тайга молчала. Перевалили сопочку, вышли в Березовый ключик. Начало светать. И враз тайга ожила, затренькали на все голоса пташки, застучали резво дятлы, нашу тропу начали перебегать белки, бурундуки, мышки. На таежных перекрестках стало шумно и людно. Ожила таежная мелкота. От этого и глаза наши потеплели, шаги стали тверже. Акимыч наступил ичигом на гриб масленок, поскользнулся и чуть не упал. Затем нагнулся, сорвал два соседних гриба и повесил их в развилку черемухи, рассуждая:

— Белка съест. Зачем добру пропадать? Она грибочки очень даже любит...

Я иронически улыбнулся. Как-то не вязалась забота Акимыча о белках, которых он зимой будет добывать десятками в день. Где-то и кого-то рядить в теплые шубки.

И вот изюбр проревел за горой. Акимыч ему откликнулся. Бык «ухватился» за трубу и пошел на нас.

— Ты, Андрюшка, шуруй вперед, а я буду подманивать.

Изюбра в рев только так и добывают, когда один из охотников ревет в трубу, а другой идет на голос зверя. Ведь изюбр на подходе к сопернику осторожен, начнет принюхиваться, приглядываться, а учует человека — и поминай как звали.

Бык проревел на склоне горы. Спешу на крик. Затвор снял с предохранителя, скрываясь за кустами, подхожу к зверю. Он рядом. Я затаился за березкой. И вот он. Вот она таежная красота. Бык был огромный, красный, по спине, как шлея, проходила черная полоса. Шея тоже черная и широкая. На десятиконцовых рогах была намотана копна дикого гороха. Бока и живот вываляны в грязи. Напряженный, он вздрагивал, ярился. Встал от меня в двадцати шагах. Опустил голову к земле и запел. По мере того как он поднимал голову вверх, песня становилась выше, резче, злее и протяжнее. Изо рта валил пар. Оборвал свой крик стоном.

Вот оно мое босоногое детство. Вот он мой Яшка. Крик был точно таким же: басовитый с хрипотцой. А сам Яшка — таким же большим и сильным, каким рисовало его мое воображение.

Однако я прицелился. Положил палец на спусковой крючок. Но тут же отпустил ружье. Может быть, это последний бык, последняя песня в этой тайге. Конечно, это не тот Яшка, однако мне его стало жаль. Нажми я спуск — и эта гора мяса и костей тут же бы рухнула мне под ноги и забилась в судорогах.

— Плевать я хотел, Акимыч, на твою лицензию! — вслух проговорил я.

Бык вздрогнул. Выпучил на меня настороженные глаза, чуть подался назад.

— Катись отсюда и реви себе в свое удовольствие! Я, брат, знаю, как трудно быть одинокому в тайге, да что там в тайге, на людях не легче. Катись, кому говорю!

Зверь сжался в пружину, мотнул головой, сбросил с рог охапку дикого гороха, тревожно посмотрел мне в глаза, встал на дыбы, круто, на задних ногах, развернулся, прыгнул за куст, прогремел россыпью камней. Только его и видели.

Я присел на корни березы. Отдохнул, затем, будто на ватных ногах, начал спускаться в ключ. Акимыч ждал меня, сидя на валежнике. Ружье его стояло рядом, труба лежала на коленях. Взглядом спросил меня: «Ну, что? Ушел?» Я пожал плечами.

— Не стрелил? Я знал, что не стрелишь. А то как же. Столько трандим об одном и том же, и вдруг ба стрелил. Знаю, не стрелил ба,— чуть важничая, что воспитал хоть одного охотника, радовался Акимыч.

Я ответил не в тон Акимычу:

— Просто он шибко был похож на моего Яшку, вот и не стрелил. Будь не похож, бахнул бы — и вся недолга. Ведь у нас лицензия. Все по закону. Тут сам охотинспектор не придрался бы.

— Ишь ты: «Яшка»! Рядом ить стоял...

— Позволь мне самому решать, кого стрелять, а кого нет. Понял? И не ори на меня! Не ори, надоели твои поучения! Тошнит от них! То стреляй, то не стреляй! А я сам хочу делать так, как душа того восхочет!

— Ну, с чего ты взял, что я на тебя ору? Охолонь чутка. Не шуми. Сядь, покури, вот и полегчает душа-то, — мирно заговорил Акимыч. — На меня можешь не обращать внимания. Все мы к старости ворчливы, поучать молодь любим. Садись. Упустил — не беда. Своего найдем.

— А вот и не сяду, буду стоять, и баста!

— Стой. Дурная голова ногам покоя не дает. Стой, а я пока посижу. Большой бык-то был?

— Огромадный.

— Это хорошо. Племя даст сильное. Люб ты мне. Люб за свою чудинку, есть она в тебе, как и во мне чутка. Другорядь чертями носимся, чтобыть добыть дохленькую косулю, а тут десять пудов мяса за здорово живешь упустили. Деньгу шальную гулять по тайге отправили. Ну и пусть гуляет. Зато у меня на сердце покой и радость. Шут с ней, с лицензией. Главное, на душе радость. Завалили мы нашим брандахлыстам план по мясозаготовке. Так им и надо охламонам.

Я стоял и жадно курил. На кедре сердито гуркала белка, стучала лапками по суку, строжилась на нас.

— Отдохнули. Пошли отселева. Нудное место. Раньше... —Акимыч не договорил, махнул рукой и зашаркал по спавшей листве.

Мы шли по течению ключика. Он, молодой, свежий, искристый, взахлеб рассказывал и рассказывал нам сказки. Ему было о чем рассказать, ведь он родился из капель, что упали с неба, а капли те многое успели увидеть, пока проплыли над нашей планетой. Там, сверху, они увидели города, села, моря, и реки. Устали и легли на эти сопки. Чуден мир.

Теперь мы шли без охоты. Теперь я мог посмотреть и на красоту таежную. Вот в ночь на тайгу упал легкий морозец, соткал на листве затейливые паутинки, опушил веточки инеем. Взошло солнце, как веером прошлось по

тайге и враз растопило иней. Засияла тайга цветом подпеченной корки хлеба, румянцем яблок, тигровыми полосами разукрасилась. Спокойно и величественно дремал Сихотэ-Алинь. Дремал и ветер в глухих распадках, не тревожил радужное спокойствие, не гнал над сопками листовую метель.

Мы брели и брели. Ружья за плечами. Берестяные трубы в сумках. Брели и слушали таежные шорохи, брели и думали. А потом, когда обсохла роса, мы вышли на взлобок, упали на ворохи листвы и затихли. Рядом зажурчал голос Акимыча:

— Осень и весна, осени и весны. Весне радуешься, а осени грустишь. От ча? Не понятственна душа человека. Смотри, вона, багульник расцвел. Хэ! Чудак. Думает, пришла весна. Нет, дружище, ты обманулся. У каждого бывает одна весна и одна осень. Вот теперь не будешь цвести весной. Выцвел. Поспешил. А зря. Не опоздал бы и весной дать цвет. Все мы спешим, а вот куда, мало кто об энтом знает. Никого осень не минует. Может, кто восхочет зацвести, но только энтим никого не обманешь. Отцвел однова, и больше не брыкайся.

Я сбоку смотрел на Акимыча, сдал старик за последние годы: совсем стал белый, ссутулился, усохло тело, поблекли глаза. Сколько я его знаю, столько и люблю. Есть такие охотники, если они не добудут зверя, то будут неделю ворчать, ругаться, а мой Акимыч на все говорил одним словом: «Невезуха». И никогда не возвращался к тому, кто виноват в промахе, кто виноват в этой невезухе. Но люблю его за ворчливость. Бывает от нее и неспокойно, но зато без дум не живешь.

— М-да, обманка. Ну ин ладно. Гля, как уютна наша тайга. Уютна особливо по осени. Душа мягчеет. Человечность на тебя снисходит. А ить на нас незнающие люди говорят, что мы суровы, злы, красоты не понимаем. Пустобрехи такое только могут сказать. Мы все понимаем, но только не ахаем, как старые барыни. А все это в душе держим.

Акимыч прав. Таежники не ахают над прекрасным, молча все воспринимают, разве что чуть улыбнутся. Вот и мы оба враз улыбнулись, перед нами кузнечик настраивал свою скрипку-скрипочку. Настроил и заиграл. Зазвенела в чистом воздухе тайги чудная музыка. Притихли все букашки-букарашки. Последний из таежных музыкантов давал свой концерт, может быть, поэтому он играл так

бурно, так неистово, с каким-то одному ему понятным упоением. Вот и бабочка не пролетела мимо, маленькая, сизая, она села на травинку, чуть пошевеливая хоботком, встряхивая крылышками — слушала. Тихо! Тихо, люди, слушайте голоса тайги!..

Шумно, мимо нас, мимо дивного музыканта проскакала невоспитанная белочка, сорвала концерт. Мало того, увидела людей — шасть на дуб и ну оттуда браниться и грозить...

— Ну чего тараторишь? Дуй своей дорогой. Дай добрым людям роздых! — заругался Акимыч.

Белочка чуть склонила головку, прислушивалась, затем прыгнула с дуба и помчалась вскачь своей дорогой. Послушала старика.

После отдыха мы потянулись на перевал. Миновав его, вышли на Орочонку. Здесь еще водился ленок и хариус. Пока я готовил костер, Акимыч в одночасье надергал жирных ленков и хариусов и присел на косе чистить рыбу на шарбу. Из крупных ленков он выбирал толстые кишочки, тщательно очищал их, промывал и бросал в котелок. От этого шарба будет жирнее и наваристее. Подвесили котелок над костром и стали ждать, когда поспеет шарба.

Катилось солнце по поднебесью. Гулял шаловливый ветерок. Ленивый дым полз в небо. И вот шарба поспела. Запахла вкусно. На этот запах прибежал бурундук, полосатым столбиком встал на валежине, забавно заводил мордашкой. Акимыч обсосал кость, бросил ее бурундуку, проворчал:

— На, отведай. Пришел. Ишь ты. Сам налови, а потом за чужим гоняйся.

Бурундучишка цвиркнул, задрал хвост и бойко побежал по валежине. Исчез в заломе.

После обеда решили не уходить с этого места. Стоянка была хорошая: под боком речка, муравистая полянка, над ней купа елок, за спиной громада горы.

Опустился вечер. Я достал свою трубу и затрубил. А вдруг кто и отзовется? Разделит наши тревоги и грусти. И отозвался. Акимыч, послушав ответный крик, усмехнулся:

— Еще одного дурня носит по тайге. Реветь-то толком не научился, а туда же. На такой крик дажить завалящий саек не пойдет.

— Ты думаешь, это охотник ревет?

— Кому же больше.

— Может зверь отозваться и на такой крик. Мне однажды на сигнал машины бык отозвался.

— Тогда могли. Счас звери стали хитрее. На дурняка не идут. Цивилизация их многому обучила.

Я укоротил трубу и проревел басом, затем удлинил и прокричал тенором, но неизвестный больше не отвечал. Хотя я ревун неплохой. Однажды на крик моей трубы пришел ко мне Костя Левша. Охотились мы по Синанче. Я ревел на сопке. Мне кто-то отозвался снизу. И начали мы дразнить друг друга. Скоро я уловил фальшь в голосе своего соперника и решил приманить его к себе. Начал отходить и реветь еще с большим азартом. Охотник шел на трубу. Охотник не мог различить, кто ревет — зверь или человек. И когда остались считанные минуты, когда охотник мог бы открыть по мне пальбу, я спрятался за дерево и еще злее заревел. Смотрю, ползет ко мне Константин. Тогда я упал на живот и стал реветь в корень дерева. Левша поднялся, начал водить стволом, искал изюбра. И тут я затрубил военный сбор. Надо было видеть, как сразу обмяк охотник и безразлично пошел ко мне. Подошел и сказал, что, мол, я знал, что это ревет охотник, вот и пришел к нему покурить. Я в ответ, что ж, мол, давай покурим. У тебя, сказывали, табачок вроде самосадный... Покурили. Что делать? И на старуху бывает проруха.

Тихо. Дремлет ночь. Тихая ночь. Небо, будто озерная гладь, заводь, где бисером рассыпались звезды и дремлют. Дремлют, и плывут, и качаются на тихой волне, плывут и о чем-то шепчутся. Я заполз под положок, который мы натянули от ночной сырости для тепла. Рядом прилег Акимыч. Так незаметно и уснули. В полночь нас разбудил истошный крик утки. Она, ослепленная светом костра, чуть не свалилась в огонь, и теперь бегала вокруг костра и что есть мочи крякала. Акимыч шумнул на утку, она поднялась на крыло, но снова упала у костра. Тогда он догнал утку, поймал ее, отнес от костра и бросил в небо. Вернулся. И вдруг прыгнул к дереву и тут же схватил карабин. Насторожился. Я тоже прислушался. Услышал, как за костром кто-то осторожно шуршал листвой, тихо потрескивал сучьями. Но кто бы там ни был, по походке это был тяжелый зверь.

— Это тигр! Я его глаза видел, когда относил утку! — стараясь быть спокойным, уверял старик.

При этих словах меня как пружиной подбросило. Я тоже «поймался» за ружье и встал рядом с Акимычем.

— И чего он бродит за костром? Может, нас скрадывает? Ить зверя-то почитай в долине нету. Я-то думал, что это ревет охотник-недоучка, а это он ревел, оказывается. Придется пугнуть для острастки.

Акимыч вскинул карабин и трижды выстрелил вверх. Послышался легкий поскок и скоро затих в сопке. До рассвета спали вполглаза, на слухе. Утром пошли проверить свою догадку. И оказались правы. На влажном песке нашли четкий отпечаток тигровых лап.

— Все. Можно сматывать удочки. Здесь охоты не будет. Когда тигр ревет, изюбр молчит. Но с чего его к нам занесло? Оголодал, поди. Будь сытым, он наш костер за версту бы миновал. Пошли в низовья. Может, там кого спроворим.

Акимыча, как всякого честного человека, терзала совесть, что мы не сможем выполнить данное обещание директору коопзверпромхоза, не добудем планового изюбра. Пошли в низовья Орочонки. К вечеру остановились в ее устье, снова развели костерок, поужинали и уснули под тихими звездами.

Утром я прогудел в трубу. И тут же в ответ мне плеснулось что-то невообразимое: начало этого крика было похоже на изюбриное, а под конец зверь разразился таким рыком, что я подался к костру. Мороз прошел по спине.

— А, черт его дери, сюда приволокся. Значит, по нашим следам шел. Ну дела! Носит его, как заполошного. Подразни. Пусть поярится.

Я проревел еще раз. Разъяренный голодом и невезением тигр, выскочив на полянку, остановился перед нами в десяти шагах, ударил себя по бокам гибким хвостом, замер, сильный и напряженный. Увидел костер, нас, присел приготовился к прыжку. Но Акимыч был настороже, поднял карабин и спокойно заговорил:

— Дура, зверина! Ну куда ты прешь? Одна пуля — и нет тебя. Окстись и валяй отселева! Валяй, покуда я не рассерчал. Брысь!

Тигр расслабил тело, поднялся на лапы, медленно развернулся и не спеша пошагал к кромке леса.

— Так-то будет лучше. И нечего пужать людей.

Дунул ветерок, обрушил с деревьев листву и погасил утренние шорохи, тревоги, улетел за сопки.

— Пошли-ка, Андрей, подловим на уху рыбешки пока она здесь водится.

Мы быстро наловили хариусов, заварили шарбу, а после завтрака вышли па трассу, проголосовали неповоротливому «МАЗу». Шофер остановил машину и подбросил нас до устья Синанчи. Отсюда мы решили двигать в ее верховья. Все же хотелось нам знать, чем жива тайга? Шли полный день. Встали у Кедрового мыса. Снова всю ночь звали на себя изюбров, но в ответ лишь тихо гудела тайга да подмигивали звезды.

Утром снова побрели, но теперь уже назад, так, без цели и без надежды. Я чуть жалел, что не выстрелил по тому изюбру, теперь не били бы зря ноги по дебрям. Но вслух об этом пе высказывался. К обеду вышли па слияние двух речек — Левой и Правой Сипанчей. Акимыч остановился и долго к чему-то принюхивался. Нахмурился, тревожно сказал:

— Дымом наносит. Неужели кто поджег тайгу? Этакая сушь. Недолго полыхнуть и верховику. Забежим-ка на Туеву сопку.

Так просто сказал: «Забежим-ка на Туеву сопку». А та сопка своей вершиной затерялась где-то у туч. Смотришь — и шапка с головы сваливается.

— Тайга горит. Пошли на сопку. Оттуда все рассмотрим.

Заспешили на сопку. Пот начал заливать глаза, перехватывало дыхание, часто остапавливались для короткого отдыха. Вышли на вершину п тут же замерли. Из-за сопок валили клубы дыма. Дымные хвосты заняли полнеба. И эти хвосты, эти клубы дыма мчались на нас с большой скоростью.

— Верховик прет! Ей-бо, он! Ежли что, то и нас могет прихватить.

— Не должен. Против нас лес вырублен. Обойдет стороной. Ветер дует мимо нас,— возразил я.— Давай посмотрим.

Это было страшное зрелище, которое едва ли сотрется в памяти. Верховой пожар охватил почти всю Левую Синанчу. С гулом, дико и грозно мчался на нас. Там тайга гудела, как тысяча паровозов. Я достал из котомки бинокль и стал смотреть на огонь: он, как взбесившийся жеребец, скакал от одного дерева к другому. Смолистые ветки отрывались от горящих деревьев и, взмыв вверх, улетали на сотни метров вперед, поджигали другие деревья.

Одни за другим рождались дымные смерчи. В неистовом кипении горели ели, кедры, пихты — все, что могло гореть. Казалось, что горели даже скалы. Гул. Стон. Рев. Треск...

Вихрились дымные воронки. Они, ненасытные, страшные, втягивали в себя все летящее. От них пытались спастись птицы, но... Вот, часто взмахивая крыльями, хотела уйти от огня и дыма ворона. Но была затянута в смерч. Туда же попала сорока, а за ней стайка кедровок. Верховик заглатывал все, — казалось, что он сейчас проглотит тучи, которые беспокойно плыли следом за пожаром, мешались с дымом. И даже слышно было, как робко погрохатывали громы. Скорей бы разразилась гроза! Сколько бы уцелело тайги и зверя. Но пожар кипел, пожар гудел...

— Вот! Вон! Смотри, зверь горит! — закричал Акимыч, показывая мне рукой на склон сопки. Его по-старчески дальнозоркие глаза видели далеко.

Я навел на сопку бинокль и увидел, как в кольце огня метался изюбр. Эх! Не успел! Но как же ты? Вот зверь сделал гигантский прыжок через огонь и тут же вспыхнул, будто его бензином облили. Боком, по кривой помчался по склону сопки к россыпи, а следом тянулся ушастый огонь. На всем скаку рухнул на россыпь и начал кататься. Рева мы его за шумом пожара не слышали, но, верьте мне, он ревел. Он ревел и молил кого-то о пощаде. Затих. Сбил с себя огонь, но уже подняться не мог, поднимался и падал, поднимался и падал. Упал и остался лежать черным пятном на камнях.

Мимо нас пролетали рябчики. Бежали белки, колонки. Даже промелькнула харза, зверек, который тоже стал редкостью. С грохотом, с испуганным уханьем катился на нас медведь. Вот он вылетел на носок сопки, увидел нас, остановился, сердито рявкнул, будто сказал, мол, всех вас вешать надо чтобы не поджигали тайгу, покосолапил по сопке. Почти под ноги упала запаленная кабарга. Вывалился язык, лежит, не шелохнется. В другое время и глазом не успел бы повести, как она бы исчезла, а здесь выпучила глаза-черносливы и смотрит на нас настороженно, будто взглядом спрашивает: стрелять будете или помилуете? Правый бок у нее был подпален огнем. Тельце дрожало, дышало часто-часто.

Правое крыло пожара уползало за сопки, левое шло на нас.

— Не пора ли нам к речке подаваться? Ежли огонь перебросится через нее, нам несдобровать.

— Гроза заходит, — снова удержал я Акимыча.

— Дай-то боже. Сколько добра сгорело! Того бы варнака поймать да высечь для порядка. Но поди узнай, кто он?

И вдруг над этим дымом и чадом прозмеилась молния, грохнул гром, широко и раскатисто, хлопнулась первая капля дождя на листву, за ней вторая, еще прошипела одна молния, расколол небо гром, и хлынул дождь, полил как из ведра.

Медленно поднялась кабарожка, покачиваясь, побрела от нас. Уже без прежней поспешности протрусил мимо енот. Клубы дыма и пара смешались, заволокли сопки и небо. Огонь начал задыхаться. Мы прижались к стволу кедра, мокли, но не уходили, хотелось видеть, как умрет этот бешеный верховик. Гроза, прогремев, быстро ушла на восток. Потушила пожар.

Акимыч, выжимая бороду от воды, ругался:

— Ну рази ж это закон? За убитого изюбра штрафишка двести рублей, за косулю десятка, за поджег тайги тожить — десятка. Сколько в этой коловерти сгинуло зверья? Кто их сосчитает? А? Кто, грю я тебе?

— Вот и попробуем мы сосчитать. Пойдем в горельник и прикинем, во сколько обошелся этот пожар.

— А для ча?

— Чтобы при случае рассказать людям, как дорога бывает для нас одна спичка.

— Такой агитпункт мало кого тронет. Я однова поймал мальцов. Они поджигали нароком тайгу. Спрашиваю, для ча жгете? Они в ответ, мол, для этой самой, экзотики. Вона какое слово придумали. Во, варначины! Пошли отабариваться и сушиться.

Утром Акимыч молча пошел за мной в сторону горельника. Теперь это место будет называться не тайгой, а горельником. Емкое и грозное слово. Местами шаяли валежины, пни, кучи таежного мусора. Мог снова вспыхнуть верховик, ведь многие валежины шаяли у кромки прошедшего пожара, но мы надеялись на дождь, тучи обложили все небо, и к вечеру, наверное, пойдет обложной дождь и будет поливать тайгу несколько суток подряд.

В горельнике было чадно и тихо. Вот под обгорелой елью лежала скрюченная белочка. Отпрыгала цокотунья.

Отвеселилась. На россыпи мы нашли павшего от огня изюбра. Здоровенный бычина, закинув рога назад, лежал черной глыбой на камнях. Увидели сгоревшего медвежонка, — казалось, он просто уснул, подложив лапку под щеку, устал от возни со своим братом. На вершинке сопки зависла на валежине косуля. Сделала последний прыжок и застряла между сучьями. Так и умерла на весу. Часто встречались обгоревшие кедровки, ронжи, сороки, вороны...

За день хождения по горельнику мы встретили до тридцати смертей. Мало того, здесь сотни лет не вырастет тайга, не зашумят кедры и ели под тугими ветрами. Вначале долго будут гнить на корню сгоревшие деревья, потом их место займут березки, осинки, заросли «чертова дерева», вырастет непролазный чепуражник. А уж потом, сколько будет длиться это потом, трудолюбивые кедровки занесут семена еловые, кедровые, пихтовые, из них прорастут махонькие кедерочки, елочки и постепенно начнут теснить березняк и осинник. А пока... Много лет будут петь здесь ветры свои унылые песни в горелых сучьях, стонать деревья от зимних бурь. Одно слово — горельник!

Грязные и усталые, мы вернулись под тень живого леса. В тайгу вернулись. Тайга... Вы только вслушайтесь в это слово, как оно мягко и певуче. И кто его выдумал. В этом слове я слышу перезвон ключей, холоднющих и светлющих, тихий шепот ночей и вижу мудрую россыпь звезд. Всем телом ощущаю бархатистое прикосновение хвоинок, стройный гул тайги слышу. Вижу необъятную даль сопок, голубых сопок, их устало прогнутые спины. Трогаю рукой поросль кедерок, они мягкие и, как все дети, нежные, тянутся ко мне, к солнцу тянутся, на цыпочки встают, все хотят знать и видеть, а что там, вон за теми сопками? Вырасти бы скорей.

Вырасти. И вырастете ли? Одна спичка — и нет вас. Нет самого обычного — жизни. Никогда я не поверю, чтобы нашелся такой человек, который бы при виде горелого леса радовался, а при виде молодой поросли кедерок — огорчался. Вот я трогаю рукой островок елочек. Он нам встретился на пути. Улыбаюсь. Растут нам на радость. Растут!

Сели на берегу речки, отмыть надо сажу с тела. Акимыч, молчавший весь день, заговорил:

— Вота, как выходит на поверку,— бросил злой взгляд на меня, будто я поджег тайгу, — ежли бы ты украл деньгу у соседа, сосед тут жа бы заявил об энтом в мили-

цию. Милиция тебя за жабры. В кузовок. Суд. А там и тюряга. Воспитывайся, становись человеком. Ага. А вот то, что ты поджег тайгу, с тебя как с гуся вода. Нет здесь милиции, не видно и лесников. Гори, ить это не мое, это обчее. Эх, гроба мать! — Акимыч зло бросил кепку на землю и начал снимать рубашку, чтобы искупаться. — Скажи, когда мы научимся хозяиновать по-людски? Все считать за свое? А? Ча молчишь?

— То и молчу, что сам не знаю, как тебе ответить.

— Не знаешь, а ты должен знать. Ты все должен знать. А я вот знаю. Тогда мы станем хозяевами всего этого, когда поймем, что вон та кедерка — она моя, твоя, нашенская, что через нее мы и живы. Сгубить ее, знать, себя сгубить. Просто, и не надо никаких научностев. Речка моя, сопка моя, небо мое. Ежли кто пакостит, того за ноги и на сук, пусть чутка повоспитывается. Только так.

Я молчал. Спорить с Акимычем просто сил не было, устал не только физически, но и душевно. И вообще, этот выход на охоту не принес мне душевного облегчения, усталость — да.

Вечерело. Мы долго и с наслаждением плескались в холодной воде. Освежились. Присели на бережку, и только я потянулся за папиросой, как вверху речки ахнул раскатистый взрыв.

— Рыбу, сволочи, глушат! — схватил карабин Акимыч и первым бросился на взрыв.

Я следом. Пробежали с полверсты и увидели пятерых рыбаков, которые, закатав штаны, вылавливали из речки глушеных тайменей, ленков, хариусов. Мимо них плыла мелочь. На мелочь взрывники не обращали внимания. Акимыч с растрепанной бородой со слипшимися от купания волосами косматым пнем застыл на берегу. Остановился и я. Вечер догорал. Тучи низко стлались над сопками. Вдруг один из рыбаков увидел нас, начал махать рукой и закричал:

— Ну, чего рот раззявили? Помогайте вылавливать рыбу! Не успеваем! Скоренча!

Акимыч вскинул карабин и, нецелясь, дважды выстрелил под ноги одного из рыбаков. Крикнул:

— А ну, выходи по одному! Выходи, кому говорю! — и для острастки еще раз выстрелил над головами.

Браконьеры распрямили спины, да так и застыли с рыбинами в руках.

— Выходите! Или я вас всех на распыл пущу!

— Акимыч, это ты? Ну, чего разошелся? Подбирай рыбу. Хватит на всех.

— А, Разумов. Вот тебя-то я давно хотел словить. Ить ты больше других дерешь хайло, чтобыть защищать природу, а на таком поганом деле попался. Нет, дружище, тут уж я тебя не отпущу. Как есть, таким и доставлю в милицию. Выходите!

Браконьеры молча выбрели на берег.

— Садись, Акимыч, в ногах правды нет, давай потолкуем, — миролюбиво заговорил Разумов, присаживаясь на обрыв бережка.

— Я могу и постоять. Но упреждаю, ежли вздумаете на нас скопом навалиться, то стрелять будем.

— Чего уж там, коль поймали, мы рады поднять руки вверх.

И вот я смотрю на этих пятерых: обычные люди, а вон поодаль стоит горняк, не раз о нем в газете писали. Здоровяк, мордастый, насупил брови, молчит. Рядом шофер, тоже парень знакомый, однажды мне дрова привозил. Угощал я его за работу. Двое незнакомых.

— Поведешь, говоришь, в милицию? Стоит нас, сукиных сынов, и в милицию бы свести, но ты сам посуди, что ить там нас по головке не погладят. Громов — горняк. Это он вынес из горы взрывчатку. Дажить за то, что он вынес, ему дадут семь лет. Ить вынес-то он ее умышленно, чтобыть рыбу глушануть. Столько лет ты отнимешь у него в жизни. Но рази только у него? Его детям всю жисть сломаешь. А их пятеро. Все есть-пить просят. Нам могут по три года всучить, а ты человек старый, душевный, ить не захочешь, чтобыть кто-то тебя клял под старость лет. К тому же ты не рыбнадзор, а просто охотник. Потом же у нас дети останутся, они при случае тебя в тайге могут хлопнуть. Жил человек, и нет его. Вон Семенов парнишка, тот стрелок отменный, белку в глаз бьет, — кивнул Разумов на звероватого мужика. — Так отчего же ему тебя не торкнуть? Торкнет, как пить дать. Да и мой сорванец уже по тайге шастает, тожить не помилует вас за своего отца.

— Ты кончил? А теперича собирайте рыбу, свое шмутье и пошли пехом до милиции. Ваши угрозы и уговоры меня не испугают. Андрейку и того больше. Пошли! — Акимыч мотнул стволом карабина, приглашая браконьеров подниматься.

— Никуда мы, Акимыч, не пойдем. Семен и ты, Прохор, сваливайте всю рыбу в речку и ложитесь. Стрелять не будут. А ежли кого убьют аль ранят, то мы на них же в суд подадим. Их двое, а нас пятеро.

Вдруг шофер резко наклонился, схватил патрон аммонала, поднес к шнуру горящую головню и закричал:

— А ну, уходите, или я сейчас вас подорву!

Акимыч спустился с берега, вырвал из рук шофера патрон и головню, спокойно сказал:

— Вот что, Разумов, или вы сейчас же начнете собираться, рыбу с собой прихватите, или я вас всех перестреляю и утоплю в Синанче. От суда вам не уйти. Этот патрон я тоже прихвачу для довеска. Все! Собирайтесь!

Разумов упал на колени, следом грохнулся Громов, шофер, два диковатых мужика и начали молить о пощаде. Это было страшно. Страшно смотреть, как плачут мужчины. Они плакали настоящими слезами. Они знали, что им не миновать тюрьмы. И я увидел, как дрогнуло лицо у Акимыча, враз обвисли плечи, как он сунул конец шнура в костерок, шнур задымил, Акимыч размахнулся и бросил патрон в сухую промоину. Ахнул взрыв. Браконьеры упали ниц. Акимыч вырвал нож из ножен, одним ударом ножа срубил упругую талину, подскочил к браконьерам, и начал их хлестать по спинам, пинать ичигами в бока, рычать что-то нечленораздельное. Первым в речку бросился Разумов, за ним Громов, остальные разбежались по берегу. Акимыч швырнул вслед Разумову измочаленный прут, выматерился, закинул за плечи карабин и валкой походкой понес прочь от страшного места.

Я с непонятным чувством посмотрел на этих людей (люди как люди, но многое недобрали умом) и усталой походкой побрел за Акимычем. Он остановился там, где мы умывались. Молча начал таскать валежник и хворост на костер, затем долго натягивал свой полог, я резал папоротник для постели. Затем заварили чай. Чай мы пили долго и молча, стараясь не смотреть друг другу в глаза.

— Ладно, не ругай старика, — наконец выдавил из себя Акимыч. — Дело энто дюже сложное. Пять отцов, у всех дети, осиротишь надолго, грязное пятно на них положишь. Гадко. Да и дело-то тут сложное. Ить с Разумовым-то я второй раз встречаюсь. Дружил я с ним раньше-то. За доброго человека принимал. Он, как чутка подопьет, так и почнет кричать, что земля рушится, что браконьеры всю таежную живность свели на нет. И почнет

накручивать ажно слеза прошибает. Вот однова шел я с пантовки. Не добыл пантов. Иду бережком Клюквенки, чую — на меня дымком пахнуло. Думал, рыбаки костерок жгут. Свернул. Выглянул из чащобинки, а там мой Разумов изюбра свежует. Добро бы самца, а то самочку. Рядом убитый телок лежит. Руки по локоть в крови, дажить харя в крови, от мошки отбивался.

Подкрался я, собрал их ружья и заставил поднять руки вверх. Разумову я говорю, что, мол, дружище, выбирай сук покрепче, вешать буду. Потому как ты все врал, не только меня в обман вводил, но и других, сам ты заглавный браконьер. Разумов же, нет чтобыть по-человечески поговорить, так с кулаками на меня сунулся. Я ему дал под дых. Он кубаря. Напарник его тожить ко мне, ему в харю двинул, покатился под куст. И началась у нас потасовка. Так между делом я им и наломал ребра-то. Потом исхряпал их ружья и забросили в речку. Они сорвались от меня, и в милицию. Машинишка у них за речкой стояла. Сели—и в Кавалерово. Пока суд да дело, они успели скатать туда и обратно, милиционера привезли. Накрыли, значитца меня на месте. Заарестовали. В милицию. Там допрос мне по всем правилам учинили. Разумов с напарником показывал, что я убил матку с телком. И пошла катавасия. Дело подали в суд. Там тожить не смогли до сути докопаться. Я — одно, они — другое. Справки у них от врачей, побои налицо. Они, мол, хотели меня заарестовать, я же их побил, ружья утопил. Их двое, я один. Вот и присудили нам всем поровну платить штраф за изюбрей. Мне еще пришлось за ружья платить браконьерам. На том и разошлись.

— Так что же нам делать, Акимыч?

— Андрюха, много у нас в душе жалейки. Могли бы увести этих пятерых в милицию, ну а дальше?

— Нет, Акимыч, ты не прав. Так мы доживем черт знает до чего!

— Закумовались мы и перероднились. Те двое, что волками на нас смотрели, — нть это же мои племяши. Втюрил ба я их в тюрьму, что сказали бы родные? Но ты поверь мне, что вдругорядь я обязательно приструню браконьеров. Это уж точно. Приструню!

«Ни чертошеньки ты не сделаешь, Акимыч. И верно, мы слишком закумовались, перекрутились и перероднились. Да и стар ты для ловли браконьеров. Молодежь сюда нужна».

— Сережка поправит дело. Мы уже охляли. И вообще, пора смазывать ружья и сушить ичиги. Вышел из меня дух охотничий.

Утром мы вернулись домой. Акимыч сдал лицензию. Вечером пришел в гости с ошеломляющей вестью: у Громова нашли ящик взрывчатки, арестовали. Судить будут.

— Пойдем ли в свидетели?

— Обязательно. Хватит, Акимыч, нам играть в ангелочки. Обязательно пойдем. Пошли в милицию и дадим свои показания. Пусть и нас судят, что мы не задержали сразу браконьеров.

— Верно, пусть судят! Пошли.

И мы пошли. Та неприязнь к Акимычу, которая родилась на берегу хлопотливой речушки, враз прошла. Акимыч снова стал самим собой. Прошло и зло на род людской, что он творит много гадкого на земле. Мы как-то подтянулись. Акимыч даже помолодел...

Потом был суд. Судили всю пятерку. Припертые к стенке браконьеры признались в содеянном преступлении. И все получили по заслугам.

И напрасно Акимыч боялся, что его осудит народ за донос, наоборот, народ осудил браконьеров. Люди начали понимать, что земля создана для всех и каждого, и нет места на ней браконьерам.

Так закончилась наша с Акимычем последняя тропа. Больше я с ним не ходил на охоту. Да и ноги у старика начали побаливать. Однако рыбачили мы с ним всегда вместе, где Акимыч продолжал рассказывать свои дивные истории из охотничьей жизни.

* * *

Смерть для каждого из нас — явление отвлеченное. Мы просто не думаем о ней. Но Акимыч уже был в той поре, когда надо было думать о смерти, подводить итог своей жизни.

Однажды утром он разбудил спозаранок свою старуху Настю и тихо сказал:

— Топи-ка, стара, баню, хочу помыться и умирать буду.

— Окстись! Ты что, ошалел?

— Не шуми. Баню топи. Не хочу, чтобыть после смерти моей старухи обмывали тело. Умирать буду чистым,

чтобыть сразу в гроб и на кладбищу. Ну, шевелись, время осталось мало. Да сбегай и позови Андрейку. Сережка приехал на каникулы. Пусть придут. Хочу сказать им свое последнее слово. Они и без того люди смекалистые, но надо, так про всякий случай, напомнить.

Из бани Акимыч пришел распаренный и посвежевший. Я чуть не прыснул в кулак, когда увидел его розовощекого: такой здоровяк — и умирать собрался. Но сдержался.

Акимыч перекрестился на икону, сурово сказал:

— Умру, чтобыть хоронили меня без оркестров, без разных речей, так, как хоронили наших в старину. Хошь я в бога не верую, но про всякий случай хочу быть ближе к нему. Вам наказ: за тайгу деритесь, пока кровя из носа не пойдут. Знайте, что без нее сгинет род человеческий. Ты, Сережка, ты будешь теперича за главного здесь. Браконьеров лови, отбирай оружья, ставь их к стенке.

— Не много наставишь, если я буду один на три района.

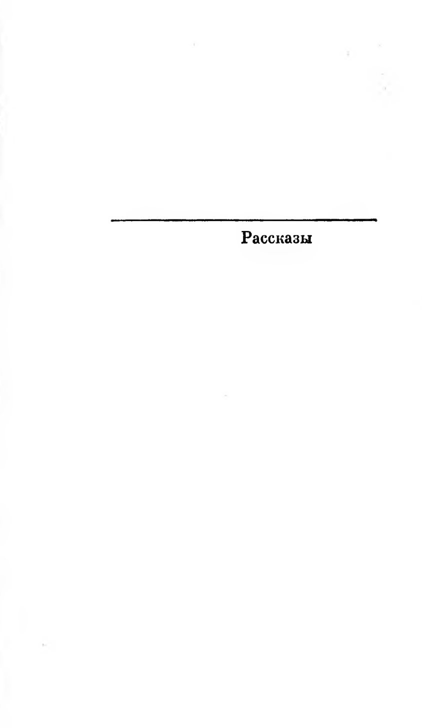
— Молчи, ежли захочешь, то сможешь, должен смочь. Ты же, Андрюха, пиши, много пиши, чтобыть люди услышали твой голос. Ты должен писать, у тебя есть жилка к писанию, пиши! Но знай, ежли не сполнишь мой наказ, с того света прокляну. Пиши и никого не боись, правда на твоей стороне, а правду, как ты ее ни топчи в грязь, она выйдет, обмоется и встанет перед людом. Теперича поделим мое наследство. Тебе, Сережка, ружье, так как ты будешь тайгарем. Тебе, Андрюшка, нож, оружье ближнего боя, острющее, при случае тебе поможет. Вот и все, что я нажил за свою жисть. Теперича шасть из дома. Услышите рев Насти — знать, нет уже меня. Прощевайте! Врачей не зовите. Отродясь у них не бывал.

Мы в недоумении вышли из дома Акимыча: Сережка с ружьем за плечами, я с ножом в руке и, ошалевшие, остановились за оградой. Ждем. Прождали час, решили отнести домой завещанное. Но не успели сделать и по шагу, как услышали плач бабки Насти. Она причитала:

— Родимый ты мой, на кого ты меня покинул, сиротинушку. Любезный ты мой, на кого ты меня оставил.

Мы бросились в дом. Степан Акимыч лежал на лавке, одетый в чистое белье, руки сложены на груди. Я бросился к нему и схватился за запястье, но рука уже была холодной, вяло упала на пол. Я осторожно поднял руку, положил ее на грудь...

Хоронили Акимыча, как он завещал. Хоронили без пения труб, за них пело ясное небо, за них пела тайга, глухо барабанила река. Гроб несли на плечах. Было слышно лишь шарканье ног по дорожной пыли, чьи-то вздохи, приглушенный плач вдовы. К горлу подкатывался ком, душили слезы. Ушел из жизни Акимыч, одинокими мы остались с Сережкой. Шли плечо к плечу, рука к руке. Первыми бросили по горсти земли на его гроб, круто повернулись и ушли к речке. Там уж мы дали волю своим слезам. А потом долго сидели и вспоминали наши походы с этим славным человеком.



Рассказы



Жила самородная

Из-за реки доносился рокот трактора, приглушенно гудели машины, увозили из-под комбайна обмолоченный хлеб. В деревне тихо и безлюдно. Лишь на завалинке покосившегося дома сидел дед Исай. Он, приложив руку к уху, слушал, что делается за рекой. Мы с дедом Исаем старые друзья, поэтому я смело подошел к нему и сел рядом. Дед, кивнув головой, сказал:

— Гудит. Хлеб нонче ладный. А ты откель сюда забрел? Давненько мы с тобой не виделись. Где пропадал? Ча делал?

— Из командировки бреду. Геологом заделался. Решил вот вас навестить.

— Еологом, значит? Это дело нужное для нонешнего положения. Прознать нутро земли — дано не каждому. Для этого особливый нюх надыть иметь. У тебя как с нюхом-то? Чуешь ли ты дых земли? Нет? Ну, тогда какой же ты еолог? Вот дед Андрос был еолог... А ты все такой же, с чудинкой, значитца. Раньше ты, ежели памятишка моя не одырявилась, был в одном деле простак простаком. Не на один вопрос мой не ответствовал. Може, счас ответишь? А? Что есть жизнь?

— Я такой же вопрос задавал деду Евсею, он мне ответил, что жизнь есть то, что мы живем, что вокруг нас хорошие люди и, вообще, жить надо, чтобы сеять вокруг себя добро. Я согласен с дедом Евсеем.

— Дед Евсей — голова! Он знает все о жисти.

— А вы-то как ее понимаете?

— Я-то? Дед, наверно, и про жилу самородную помянул?

— Ага. О жизни дед Евсей говорил ладно, но как ее правильно прожить, он все же не сказал.

— Понятственно. Так вот слухай, еолог, как надо правильно понимать жисть. Жисть — это геометрия прямых линий. Непонятно? Да? Жисть — жила самородная. Ето слово спер у меня дед Евсей. Ага. Тоже не все понятственно? Ну тогда дам свои епотезы. А то наш разговор не дойдет до благополучного момента, не доберемся мы до жилы

самородной, не познаем геометрию жисти. Я ту геометрию не токмо в руках держал, сам по ней прошагал ровнехонько.

— Но в геометрии есть и кривые линии?

— Пустое мелешь. В геометрии есть, а вот в жисти их не должно быть. Человеку с первого крика, окромя всех таинств, в довесок дается судьба. Она дает ход жиле самородной. Чтобы ты не лез в пустую породу, чтобы ты слушал дых земли. Дых земли — это наиглавнейшее дело. Но и другое дело тожить наиважнейшее — это не пущать в душу кривинку. Раз скривил, второй раз потянет тоже иделать. И геометрия человеку на то и дадена, чтобы он шел всю жисть ровно, прямых линий держался. Тепері тебе понятственно? Хорошо. Так, значитца, ты есть еолог?

— Геолог.

— Ага,— сказал дед.— У вас ноне разная техника, химия и расхимия. Ероплапы летают и землю проглядывают, пешки никто не хочет ходить. Машину подай. Енералы! А енеральства-то у вас ни на грош. Вот Сенька — настоящий енерал! А вы енералы. Во! А мы? Мы, брат, всю землю ногами промерили. Ухом и нюхом слухали, что скажет земля. Жили мы, значитца, на севере. Под боком Зея-река. Наша деревушка была спрятана в тайге. Летом бабы молоко холодили под мохом, потому как там лед все летечко держался. Места — дикие, самые золотошные. А золото, хошь знать, только таких мест и держится. Ему не нужна благодать и разная разность. Дорогое завсегда в темных местах себя прячет. Будь оно на виду, то все бы враз выколупали. Дикость и северок золоту-то подай. Так-то. Моя геометрия жизни пошла с золота. Сенькина — с партизанщины. Мы оба чутка погоняли беляков. А в мир-то вместях и пошли золото искать. С золота наш узелок жизни и размотался. Родились мы с Сенькой в один день и под Марсом-звездой. Но дороги у нас вышли разные. И никто в том не жалкует. Всяк свою жилу самородную нашел, не спортил геометрию.— Дед Исай помолчал: — Отгремело, отбулгачило смутное времечко, и пошли мы искать золото. На то гумага сверху пришла, чтобыть мы начали искать золото. Очень шибко искать. Батя и дед Андрос, наши заглавные еологи, начали было землю пахать, но пришлось бросить. Не пахари они, а вечные золотошники. Всю жисть искали золото, а так в богачи и не вышли. А уж кто с первого шага заразился этой болестью, то всю жисть будет ею пудиться...

А за гумагой и начальство пожаловало. Так, мол, и так, стране надобно золото. Андрос было хотел покуражиться, но его одернул отец: «Чего ты, старик, аль ты не был нашим командиром? Пошли, надо — так и быть — головы положим, но найдем то золотишко. Може, не так уж много, но должны найти».— «А может, есть у вас места приметные, чтобы там рудник заложить?» — осторожненько начал выспрашивать начальник. «Может, и есть, но все надо проверить, прослухать, как и чем дышит земля. А потом уж скажем».

На том и разошлись. Стали собирать бригаду. Нас с Сенькой взяли и еще гугнявого деда Ипата прихватили. Он не сразу пошел, все бухтел: «Золото — картежная игра. А как будут платить? А будут ли?» — «Будут,— сказал дед Андрос.— Да у меня и нюх есть, что должны найти много золота. Кучу». Пошел дед за нами. Он золотошник был славный. Мы с Сенькой тожить не лыком шиты. Знали, где сухостой выдался — могет быть золото, там, где много муравьиных куч, тожить надыть ковырнуть землю. Примет знали много. Но и фарт — дело нужное. Я же в золотошном деле оказался самым фартовым. Отсюда и определилась моя линия жизни. Не было бы фарта, тожить, может, был бы енералом. Ить при желании енералом можно сделаться запросто. Была бы голова на плечах, а вот быть золотошником — не каждому дано. Тут, окромя головы, надобно многое.

Собрались и пошли мы в тайгу. А в тайге весна, слякотно и студено. Кто бывал в зейской тайге, тот знает ее мари, перелески, болота и озера. Повел нас дед Андрос на те места, где будто бы он примечал золотишко. То место много лет хранил в тайне. Для ча, так и не сказал. Тяжело идем. То снеги, то дожди нас накроют. Идем. На горбах несем продукту и разный струмент. Хотели взять коня, но раздумали. Сгинет напрасно аль медведи сожрут. А там, где Андрос приметил золотишко, жили староверы. Эти люди завсегда уходили подальше от мирского люда. Среди них были знакомые деду Андросу.

— Да, труднехонько золотишко-то добывать. Но че же в жизни дается легко? А? Дайся легко золото в руки людям, то бабы кусками золота капусту бы гатили вместо камней. А то ведь крупинками его собираем. Сам подумай, для ча в мужицком хозяйстве золото? Ножа не скуешь, посуда чижелая. Прямо вот и не для ча. А коль редко оно, то и цена ему наибольшая. Но есть у меня мыслишка, что

там, в самом нутре земли, того золота горы, лопатой можно грести.

Идем, значитца. Тайга в зелень пошла: лиственница иголочки пустила, а скоро и черемуха дала цвет. Потеплело. А мы все идем. На третью неделю дед Андрос начал крутить носом. Нюхать и слухать. В одном из ключиков мы остановились. Взяли пробу, в лотке две золотинки нашли. Поднялись выше, еще пробу — больше попалось. А когда на одной косе намыли полграмма золота, дед и сказал: «Тут и будем отабориваться. Тут и лежит наша жила самородная. Подсекать ее будем».— «Разведка боем,— проворчал мой отец». «Только так»,— согласился Андрос.

И почали. Все, как полагается, хоша и не надо, поди, бывшим партизанам за старье цепляться, однако традициев не порушили. Богу помолились; кто дюже грешен, тут же покаялся. Ну и главное — это надо было шапку бросить, чтобыть она показала, где то золотишко спрятано. Да так должна та шапка упасть, чтобыть землю не накрыла, а донышком легла. Ляжет донышком, тут и копай, золото должно быть. Бросил шапку дед Андрос. Упал его треух с первого раза с веселинкой. Но, на мой погляд, махонькую кривиночку имел. Нарушила та шапка геометрию ровности. Узрел, но смолчал. Сам себе рассудил, что нет таких людей, кто живет без кривинок, хоша махонькую да кажный имеет. Словом, кривинка такая, что в счет брать не надобно. А зря, коль однова пустил малую, пропустишь и большую, а вся жисть пойдет на заворот кишок.

Наготовили дров, положили пожог, ждем, когда огонь земную кожу согреет, талость даст. Ну и между делом слушаем поучительные беседы деда Андроса, за кострищем следим. Наш дед Андрос мало того что был преогромный политик, так еще и знатоком по звездам был отменным. В писании сказано, что звезды бог сотворил, а дед же говорил, что родило их наше солнце и отправило те звезды в небо греть другие земли. И тут уж не перечь, дед Андрос крутого нрава был старик, враз по сопатке схватишь. Сказал он, что луна из чиста сребра, так и быть. Тут он, конешно, могет и без драки все доказать. Да и самим видно, что Луна серебряным рублем в небе висит, чеврONь на нее нанесена. Головаст старик — беда. А звезду Марс, мол, Солнце родило из чиста злата. Вам, може, смешно такое слушать, а мы людей старых уважали, верили им.

Счас время тако пришло, что старым одно осталось — почет, веры им вроде и нетути.

«Скоро,— говорил Андрос,— люди соорудят ероплан, он слетает на Луну, возьмет ее, как баржу, на буксир и сюда приволокет. Причалит, где сподручнее, и почнем мы из Луны лить ложки, чашки. Все это задарма пойдет. Только вот меня ча мучает, ежлив энто сделают вперед буржуи, то ить нам-то завидно будет. Совсем они разбогатеют и нам продыху не дадут. А вот Марс, тот чутка позже сюда приволокут, потому как туда надобен посильнее ероплан, а как приволокут, то считай нашему старательскому делу — конец. Наставлю я себе полон рот золотых зубов и буду ходить форсить, а то ить давно стал беззуб. Золото мою, а на зубы не сгоношу».

Нам, ясное дело, такие сказы антиреспы, мы в спрос, а что, мол, с остальными-то звездами иделают?

«Остальные,— чесался подолгу дед Андрос,— остальные оставят для украшения неба и мечтательства. Без звезд людям жить нельзя. Скушновато будет. Рази можно нашу Зорьку порушить? Нет, я говорю. Вышел до ветру, и уже знаешь, ежлив Зорька висит на востоке, знать, пора баб подпимать и делом заниматься. Особливо она нужна зимой. Часов-то где набрать столько. Зорькой и будем обходиться».

После таких поучительных бесед не спалось. Дед сказывал про еропланы, самокаты, про песни, кои можно услышать с другого конца света, про то, что люди в нутро земли будут смотреть не чутьем, а разными машинами. Беда. Все вышло почти по деду, по его сказам. Не у кажного такая голова была. Взять Ипата, тот только и мог матюжничать и ворчать: «И какой дурак начал первым искать это золото? Мы втянулись. Моя вон, поди, спит на перине, а я как король хрунцуский маюсь на нарах. Сменяться бы с тем королишкой местами? Вот было бы смеху-то».— «Дурак, — ответствовал ему Андрос, — короля того давненько хрунцузские рабочие в рай отправили».— «Да ну?» — «Вот те и ну. Хошь меняйся?» — «Свят, свят, сохрани и огради от смертныя напасти»,— начинал молиться Ипат. Смех и грех.

Утром убрали пожог. Начали долбать землю. Сняли талость и снова начали греть. За два дня добрались до рыжих глин, потом пошли синие, с прозеленью, и наконец дошли до песков. Тут у каждого в душе трепетанье, крутим ворот, ажно руки горят. Бадья взад-вперед снует.

У каждого одна думка: добыть золота и сразу посылать Андроса к староверам, чтобы прокорм себе купить. У староверов всего было вдосталь. Даже спиртишко водился. Откель и как они его заносили, нам было неведомо. Под залог ничего не дают. Оно и понятно — люди таежные, ежли кажному давать под так, под честное слово, то быстро в разор пустят. А ить у них все с горба нажито — понимать надыть. Кажному бродяге верить — скоро без портков останешься. К тому же, многие их уже проучили.

Ну ин ладно. Берем одну за другой пробу — пусто. Пробиваем штольнешки и влево, и вправо, но все то же. Андрос и Ипат челноками бегают от шурфа до ключа. Моют в лотках пески. Спустился в шурф Андрос, поковырялся, посопел, вылез и сказал:

— Глухарь! Ножа те в горло, глухарь!

— Глухарь! — прогундосил Ипат.

— Надо думать, так,— согласились мы.

Отец мой сощурил глаза и грит: «Потому и глухарь, что твоя шапка, Андрос Сидорович, стало быть, снова ворованая». Водился такой грешок за дедом Андросом. Бывало, он раньше прихватывал чужое, до революции значитца. Потому зря уродовались. Побурел дед Андрос, зашипел, ответствует: «Не забижай зряшно человека. До революции я был в бессознательности, а счас я дошел до душевной чистоты. В магазине куплена». Сильнее запыхтел, вижу — ищет лазейку, на кого бы нашу поруху свалить. И дернул меня черт за язык, я и ляпни: «Потому вышла такая невезуха, что шапка-то махонькую кривинку имела. Может, она сбила нас с панталыку?» — «Какая еще там кривинка? А?» — этак вкрадчиво спросил дед. «Ухо-то на северяк смотрело, оно чутка и похилило шапку. Знать, там надо было искать золото, в северянке».— «А ты хорошо энто приметил?» — «Куда лучще».— «Так отчего же ты, гроб твоей собаке, смолчал, не пошумел?» — гусем зашипел дед, прыснул на меня котом, поймал за патлы и давай тузить и приговаривать: «Видел изъян? Ага? Не сказал, смолчал. Душой покривил. Стервец! Вот тебе за это! Вот! Учись за обчество душой болеть. Увидел неувязку — кричи! Кричи, пока всех с копылков не собьешь, пока не оглохнут!»

Размерно, с передыхом давал мне дед Андрос первый урок горняцкого дела. Оно, конечно, при хорошем питании мог дать бы и больше, но с мучной болтушки много не намашешься, да и та подошла к концу. Науку я принял

без всяких там сопротивлениев. Потому как знал нашу политическую линию: найти золото и им бить по рожам проклятому капиталу. На том бы и надо кончить поучение мое. Но куда там, кажному захотелось отвести душу. Ипат от всего сердца залепил мне такую затрещину, что я кубарем улетел в кусты. За ним и батя пошел, выволок меня из кустов и тожить пару оплеух для понимания нашей научности влепил. А какая там, к чертям собачьим, научность, ежлив в кажного лапища по пуду, потому тонкостев в этом я уже не видел. Дед Андрос бил жалеючи, а энти со всей силы. Ну, думаю, коль еще Сенька начнет меня учить, то я ему дам сдачи. Очень даже мог запросто дать. Кому пондравится такая костоломщина. Но он не тронул, подошел ко мне и с жалостями разными говорит: «Потерпи, Исаюшка, мужики нашли в тебе продушину, вот и надышались, теперича помолчат. Звестное дело — темнота. Не верю я, чтобы шапка здесь политическую линию играла. Для отвода глаз тебя тузил».

Дурень. Будь он на моем месте, я бы показал ему для отвода глаз, не посмотрел бы, что была у него думка стать енералом. Стерпел все, хотя в душе кинело, — кажись, будь у меня шомполка, я бы ахнул по суностатам и еще бы чутка повел дулом. Всех бы вдрызг расхристал. Ить не скажи я, что шапка была с кривинкой, так бы обошлось, поматюгались бы и на том разошлись.

У балагана развели костер, шумят, меня клянут. Ну и пусть. Я осмотрел местность, прикинул, куда шапка ухом казала, отсчитал полста шагов и задумал склонить мужиков, чтобыть здесь шурфишко заложить.

Утром напились чаю, Андрос и говорит: «Ты, Исай, зло па нас не таи. Урок даден тебе для твоего же благополучия и для научности. За битого — двух небитых дают. Сделаю я из тебя большого золотаря. Приметливый ты. Смекалистый. Все равно тебя, когда-никогда, распочинать надо было. Свои люди били, когда бы чужие — это плохо. Я давно заприметил, что твоя жилочка имеет расположения к молчанию. Никакую нельзя кривинку пропущать. Сенька — это не золотарь. Это так, его я бы и не тронул. Быть ему енералом, может, получится чо. А ты золотарь — коренник».

Значитца, поначалу по мордасам, а потом ласково по головке погладил.

«Сенька — тьфу! Не лежит у него душа к золоту. Не болит она за него. Знай и другое, что молчун порой

и нужен, но коль доходит до дела, надыть быть крикуном. К таким людям завсегда народ лепится. Пошли яму закладывать. Твой черед шапку кидать. Так мы порешили».

Я прямо и пошел на то место, где с вечера думку имел шурф заложить. Пришел. Бросил шапку, и она так легла ровно, что Ипат чуть ли не нюхал ее, дажить сказал: «Будь ба уровень, то не приминул ба проверить, ровно ли она лежит?» — «Копать будем тута,— сказал я.— Здесь золото лежит кучей». Дед Андрос понюхал землю, приложил ухо к ней и сказал: «Должно. Слышу дых земли. Будем копать. Почали».— «Но, Исаюшка,— сощурил глаза мой батя,— коли пусто, то я первым почну тебя еще разок учить. Кому много дано, с того много и спросится. Понимаешь?» — «Понимаю. Но от ча вы задумку такую поимели, что мне много дано?» — «А по то, что ты отмеченный богом. В рубашке рожден, а такое не кажному дано».

Взбодрился я. Знать, били не зря. Сердцем чую, что найдем здеся золото.

«Человека я из тебя иделаю,— продолжил дед Андрос.— На весь мир прославлю. Все ключики и тайны земные тебе передам. Сам же скоро буду давить на печи тараканов».

Животы наши подвело. Дед Андрос пошел к староверам канючить едому. Не выбить нам на воде еще шурф. А что там Ипатовы рябчики, которые он силками давил, так — пустое дело. Жавнул раз-два, и нету. Ружья не брали. Это Андросова дурь, что будто они спокон веков без оружья золото искали, потому и находили. Андрос вернулся к вечеру. Пару булок хлеба принес. Начал издалека, с подходом: «Такое дело-то, дали мне знакомцы тридцатку взаймы. Ежлив купить мучное, то оно здеся стоит втридорога, а ежлив мясного, то мы смогем три таких шурфа выбить. Ить никто пока не знает, глухарь тута аль нет. Тогда нам отсельева и не выбраться. А это уже нарушение политической линии. Возьмем мясного, то и линию свою соблюдем. Мясное, коль хочется знать, силу большую имеет, чем мучное...» Долго долдонил о том и о сем, пока не сказал прямо, что, мол, присмотрел совсем молодую кобылицу, хромая она, но жирна и свежа, глянешь — и слюнки текут. «Ты ча на смех нас берешь, аль мы нехристи какие, чтобыть кобылу есть?» — закричал Ипат. «Верно, люди мы хрещеные, не дано нам кобылу есть»,— подал голос и отец. «А еще партизан, а еще советский человек. Да для дела, да для Расеи я готов лопать собаку, только

было бы от этого помощь нашему люду»,— взорвался Андрос. «Но ежли молодайка, то должно быть мясо мяконькое»,— согласился отец. «Верно, через кобылу и порадеем для нашей власти. Ить мы люди не буржуйских кровей. Может, вначале и помутит чутка, а потом все пойдет как по маслу. И при современном политическом моменте не может быть и речи — хрещен ты или нет. Ить не за-ради себя маету и этот грех на душу берем, а для народа. Все знали, что не к теще на блины идем. Ждут нас с разведки, чтобыть здесь прииск заложить. Найдем золото, тогда и будем куражиться и есть как следует, разные всячины»,— закончил свою речь Андрос и пошел в балаган спать. «Верно,— говорит отец,— нам с тобой, Ипат, надо бы чутка в политике поднатореть, ишь как шпарит, будто по-писаному. Потому помолчим. Поедим и конятинку».

Утром мы с Андросом пошли в деревню за кобылицей. Пришли. Андрос завернул в крайний дом. Вышел старик. «За конем?» — спросил он. «Знамо». — «Забирайте». Глянул я на кобылицу, которую Андрос называл молодайкой, и назад попятился. «За тридцатку отдашь, как вчера договорились?» — «Передумал, — отвечал старик, — отдам за так. Все одно ее надыть на конскую кладбищу вести, так хочь вы сведете, а может, и поедите ча».

А ча уж там есть. Ребра торчали, как частокол, мослаки во все стороны. Не кобылица, а дохлятина. Ноги еле переставляет, хвост и грива замочалены. Никакой аппетитности.

«Ну ча уставил зенки? Повели. На тридцатку, може, мучицы продашь?» — спросил Андрос старовера. «Могу». Купили мы муки и повели одрицу на табор. Дед Андрос еще сказал, что, мол, на этом коняге можно верст сто без роздыху проскакать. Но скакать не пришлось. Вывели кобылицу из деревни, а дальше хочь плачь! Не идет, и точка. Через колодины сами ей ноги переставляли. А волочить коня верст десять. Протащили восемь верст, и легла наша «молодайка».

Дед Андрос начал меня жалостливо просить, чтобыть я зарезал кобылицу. Но я уперся и тоже не сдаюсь. Режь, мол, Исаюшка. Начал обзывать буржуем и лиходеем и разными срамными словечками. Но я не сдался. Режь, мол, сам. Кобылица тем моментом околела. Кровей две капли вышло. Усохли у нее уже кровя-то.

Освежевали. Дед Андрос поднес мне под нос кулак

и сказал: «Ну, Исай, ежлив ты проболтнешь, что кобылица исдохла, что стара была до невозможности, то знай, измочалю вдрызг. Ради Расеи тебе в три ряда нос расквашу».

Понесли мясо на табор. Варили до самого заката солнца, я пять раз воду сменил, а мясо все как дерево. Пришли наши артельщики. «Ну, слюной вы там не изошли, пока дождались вечера? Вон, ведро мяса. Ешьте. Лучше гусятины. Ну, начали. Покажи им, Исай, что ты наш, что ты больше всех болеешь за пролетарскую революцию, хоть ты пока и не партейный, но уже большевик». А меня при одном виде мяса тошнит. Перед глазами стоит издыхающая кобылица. Не спешу есть, над ухом снова прошипел дед Андрос: «Ешь, сволота, али я тебе нож под дых пущу! Ешь, да посильнее». Схватил я преогромадный кусок и давай есть. Чавкаю, рву мясо зубами и промеж всего говорю: «И верно, молода была, ажно лоснилась, да не смогла до табора дочапать, нога разболелась, дорезали у ключа, мясо в мхи спрятали. Ешьте, геликатесное мясо, гусятинка». Начали все есть. Мы с Андросом за двоих молотим. Опорожнили ведро. Ипат прогугнявил: «И верно, вкусна. И верно, гусятинка». Потом чаем баловались со смородинным листом. Лепешки ели.

В полночь разбудил меня Андрос, зашептал, вари, мол, шибче вари, чтобыть не пронесло людей-то. Пошел я варить. Варево мое бурлит, и не заметил, как и уснул. Проснулся, уже пташки в кустах загомонили, костер затух. Скорехонько долил воды и снова раздул костер. Варю. Едва вскипело, а тут дед зашумел: «Подавай гусятинки, Исай, сегодня пойдем до песков и начнем выгребать золото». Еще и заругался, что, мол, я долго вожусь, мясо молоденькое, должно быстро увариваться. Ну, раз молоденькое, то я и подал, как есть.

Все жрут, ажно хробысток на зубах стоит. А я уже не могу, раз показал себя, что я за пролетарскую революцию, и будя. Дед зашумел, что, мол, не ешь. Я в ответ, а то, что, пока варил, два кусьменя мяса съел, ажно живот гудит.

«При таком питании мы и десяток глухарей выбьем»,— гундосил Ипат. Но дед дал ему тырчка, и тот замолк. Нельзя под руку такие несусветные слова говорить.

Почти сразу же и вышли мы на пески, гальку. Снова шустро заходила бадья, в азарт все вошли. Ипат начал промывать пески. Мы с Андросом на вороте, а отец и Сенька в шурфе. Вдруг чую, что мне стало тяжело крутить

ворот. Глянул на Андроса, а у того рот набок повело, согнулся. Ну, думаю: отходил свое дед. Помирает. Не могу вывернуть бадью, а в ней три пуда. Отпусти ее, она упадет на головы отца и Сеньки, заорал: «Ну чего рот раззявил, крути!» Дед понял мой крик и начал через силу помогать. Едва выволокли. Он тут же сиганул в кусты. Откель и прыть взялась. На ходу опояску сорвал, штаны и упал за кочкой. Слышу из шурфишка тожить кричат, чтобы подал лестницу. Выскочили и тоже за дедом. Я на всякий случай начал отходить на запасные позиции. Обчество — обчеством, а свои бока — бока свои. Жаль, коль снова начнут мять.

Вышел Андрос, и на меня: «Недоварил мясо, проспал! Пролетарият под монастырь подвел! Убью!» За ним и батяня пошел. Я в отступ. Не дошли они до меня шагов десять, поглядели друг на друга и снова в кусты сиганули. Дед было вырвался вперед, но запнулся за кочку и упал, не достиг финиша, благим матом заорал: «Господи, прости мои согрешения! Во веки веков не буду есть конину!» А потом такую матюжину загнул про бога и богородицу, помянул весь род божий, встал и пошел в ключик.

А что мне делать? Бежать. Так кругом тайга. И не можно от своих бежать. Спустился в шурф и начал ковырять стенки. Кайло дзенькает по камням, лопата ширкает. Роблю. И вот прямо из стенки шурфа на меня блеснуло что-то желтенькое. Вырвал. А это самородок фунта на полтора. Ахнул — и наверх. А тут уже меня ждут. Я мышонком пронырнул под их растопыренными руками и отбежал в сторону. Говорю: «Нашел самородное золото. Бить будете, выброшу в болото». Показал кусок. Андрос ко мне. Схватил золото, начал осматривать, чуть ли не языком лизал. «Точно, золото, не кварц». Ко мне, обнял, целует, снова насчет пролетарията говорит, ласкает. Бросились мы на табор. Здесь дед поддел ведро с заготовленной на варку кониной, закричал: «Пропади ты пропадом!» Побежал в село. Допрежь то золото на куски разрубили. Мы начали снова робить. И пошло: как лоток, так тридцать — сорок граммчиков. Пока Андрос ходил, а потом закупал едому, мы намыли почти фунт. Едому он привез на копе. Тут все было, даже спирт, даже мед. Ешь и пей — не хочу. На радостях поддали мы хорошего парку. Сенька так надзюкался, что залез в озеро — а оно холоднючее — и шлепает по воде руками, кричит: «Исай, плыви за мной, переплывем окиян и в Америку угодим». — «Так это же не

окиян», — ответствуя я. «Окиян». Еле отходили дурня, а счас генерал. Вот так у нас деется.

Пошло у нас с того самородка. Только успевали ссыпать золото в кожаные мешочки. Но скоро закрыли шурф, завалили снова. Открыли второй, третий, — и все бросал я шапку. Подсекли жилку самородную. «Исаевой» жилой потом звали то место. Начались разные мечтательства. Сенька было хотел раздумать учиться на генерала, но Андрос так на него цыкнул, что он тут же смолк: «Будешь учиться. Нам нужны всякие генералы, всякие анженера. Учись. Исайка будет еологом». Мы все думали, что нас не обойдут, к наградам и премиям представят. В Москву мечтали попасть. Андрос уперся на то, что будет проситься за границей побывать. Хотел провести поучительные беседы с разными королями и королишками. Доказать им, что не дело иметь одному столько, а другому ниче. «Как большевик буду говорить. Докажу. Не могет такого быть, чтобы разумный человек не понял мою правоту. Посоветую бросить все, отдать народу и самому начать робить. Интересно видеть, что твои руки иделали...» — «Не послухают тебя», — тянул Ипат. «Не послухают, тогда я их мировой революцией припугну. Должны послухать. Позову сюда к нам золотишко искать. Энто ить такой азартишко». — «Не пойдут, работа чижолая», — стоял на своей непролетарской точке Ипат. А мой отец еще и насмехался: «Ты, Андрос, расскажи, как ты после Исайкиной конины зайцем по кустам сигал. Очень даже будет интересно послушать королю». После таких насмешек Андрос терял власть над собой, прыгал на меня с кулаками, на отца, грозился нам отомстить. Но отец снова за свое: «А как ты будешь говорить с аглицкой королевой аль королем. Ить по-ихнему ни шиша не петришь?» — «Кубыть за дорогу научусь. А нет, так Исайку прихвачу с собой, он головастый, быстро почнет говорить по-ихнему. Пойдешь со мной, Исайка?» — «Пойду, ежлив для дела».— «Гнилая у тебя программишка, Андрос Филимонович. Не нашенская. С буржуями и королями надо говорить по-партизански. Бить их надо, а не разводить турусы на колесах».

Но все это ладно, наши ссоры — делу не помеха. Помехой стал Ипат. Посумнел он, посуровел. И однова заговорил: «Надыть нам, братцы, подумать и о себе. Для государства порадели, порадеем и для себя. Часть золота надыть оставить про черный день. Мало ли что». После таких слов мы ажно подались назад, а дед Андрос чаем

поперхнулся, едва не захлебнулся. Одыбался — и на Ипата: «Ты что, сдурел? У тебя что, вместо головы — тыква? Да тебя за одни только думки и слова надыть распять на кресте. Тупая твоя башка! Замолчь!» Вспылил и Ипат за то, что его тупой башкой назвали. Ну и, конечно, что думку тут же отмели, схватил кайло — и на Андроса. Но дед дажить и не дрогнул, спокойно сказал: «Меть в сердце, сразу убивай. Ты спас меня однова от японцев, ты могешь и убить».

Выпало кайло из рук Ипата. Он помнит, как Андроса отбил у японцев, которые хотели того сжечь живьем. Его отряд с ходу налетел и разбил вражин. Сел на кочку и запричитал: «Провались все пропадом! Нашли — и не назови своим. Как энто понимать? Наша земля, наши речки, наши горы и небо, а не мое. Обчее. И зачем энто мне?»

Долго поясняли Ипату, что наше есть наше, но все это обчее, народное. Ежлив все заново вертать, так, выходит, надо и буржуев садить в дело. Нашли — наше. Мой и сбывай сам золото. Не дело, ясно, не дело. Ипат сдался. Пристыдили его партизанской совестью, пролетарским происхождением.

Начали свертать свою разведку. Все шурфы завалили, набросали наверх мхов и хворосту, чтобыть не нашли какие варнаки и не попользовались ради себя. Угомили и пошли на выход. Анархистам-староверам, они ить сроду не хотели признавать какую-то власть, сказали, что, мол, не нашли настоящего золота. Те и рады. Нет золота, знать, они так, в тиши, и будут жить. А будь оно, то и люд бы сюда повалил, колготно и суетно.

Пришли в Амурский обком и все, как следоват, доложили. Золото на стол. Ахнули все. В Москву нас. Там Калинин нам по орденку Трудового Красного Знамени. На курорты. Андрос было запросился за границу со своей гнилой программкой, но ему Михаил Иваныч пояснил, что и как, и дед сдался.

Наша разведка была ладной. Счас там уже отработали золото, считай, но поперва добывали его пудами. Такой прииск отгрохали — залюбуешься.

— А потом вы еще искали золото? — спросил я.

— Много искали и много находили. Нюх свой передал мне Андрос. Ага, передал, царство ему небесное. Так-то. Значит, еолог? Вот и подумай, что есть жизнь.

Дед легко поднялся, усмехнулся, бросил:

— Гудет. Гудет земля. Хорошо!

Сороковой — роковой

Наконец-то Василий Иванович согласился взять меня на охоту, во мне пела каждая жилочка. Василий Иванович или просто Иваныч, как звали его знакомые, слыл завзятым охотником. На его счету, как он сам утверждал, было тридцать девять медведей. Оставался последний — сороковой. По поверью, он мог стать роковым. Видимо, по этой причине, когда я заводил разговор о медведях, лицо Иваныча начинало бледнеть и настроение портилось.

— А вот как же, — говорю я, — некоторые охотники убили около трехсот медведей.

Иваныч только махнул рукой:

— Главное, убить сорокового, черту судьбы перейти. Да и врут, поди, твои охотники.

Врут? Нет, такого быть не может. Люди солидные, уважаемые. Жаль одного, такие охотники не умеют рассказывать красиво и вдохновенно. Начнешь расспрашивать, а он: «Ну, увидел, стрелял, чего там...» Вот и весь сказ. Уснешь в одночасье. Иваныч — дело другое. Хоть он и убил меньше трехсот, а начнет рассказывать...

— Иду я как-то, благодать таежная вокруг... Птицы поют, сердце радуют. Осень. Не без того, если тронет сердце печаль, как увидишь, что с тихим шумом падает с дерева листок. На то причина есть: год, считай, прошел...

И начнет рисовать, расписывать таежные прелести, так и кажется, будто сам идешь по лесу, а не Иваныча слушаешь. И пока дойдет до главного, забудешь, о чем разговор зашел, однако слушать — слушай, а ухо держи востро, к главному Иваныч подходит сразу:

— И вдруг, гля, над моей головой сидит медведь и дуб ломает. Сук сломит и разглядывает его: не зря ли сломал, есть ли на нем желудь? Если и есть, подтолкнет под зад. Которая ветка упадет вниз, проследит, куда упала. Поворчит малость и снова примется за свое дело.

Подкрался я к нему и хвать за лапу, да как крикнул: «Ты пошто дерево портишь? А ну слазь, сукин сын!» Рявкнул косолапец со страху и мешком свалился на мою голо-

ву, едва спину не сломал. Тут-то я его и прикончил ножом. Дело знакомое...

— А вот в другой раз, — продолжал Иваныч. — Сошлись мы с медведем нос к носу. Он на дыбы — и ко мне. Я ему шапку в лапы сунул, сам же выхватил нож и полосонул по животу лиходею. Так надвое и развалил. Кишки вывалились. Сел косолапец и огромадными лапищами начал вправлять их в брюхо, а сам смотрит мне в глаза, будто спрашивает: пошто же ты мне живот-то спортил? Мне даже жалко его стало. Да уж поздно, что сделаешь.

Иваныча можно слушать сутками, и ни разу он не повторится... Хорошо с таким в тайге: и с добычей будешь, и на привале скучать не даст. Нагруженные, мы тронулись в путь. Целый день шли до зимовья Иваныча. Пришли, и пока было светло, в пазах мох подконопатили. Развесили продукты, чтобы мыши не попортили, дров наготовили, убрали свое жилье. Тут и полночь. Спать...

Утром вышли на промысел. Решили добывать крупного зверя. Отсюда вывод: стрелять попусту нечего. Идем тихонько, приглядываемся. Иваныч — завзятый медвежатник, потому без слов и пошли искать следы медведей. А их в том году было немало. На каждой сопочке — медвежьи метки.

Время за полдень. Ноги буравят мягкий снег, тихо поскрипывают унты. Уже и усталость стала сказываться. Сели. Иваныч начал философствовать:

— Медведя убить — ума большого не надо. Сноровка, ясное дело, нужна... След бы свежий найти. Главный зверь, видно, уже залег в берлоги. Зима на носу.

Иванычу что, он пострелял на своем веку. А по мне, хоть все бы медведи залегли. Спокойнее. Но чтобы не пасть в его глазах, я начинаю заливать такое, что самому стыдно:

— Да, да, конечно, ко всему привычка нужна. Я тоже побил их в свое время. Не в новинку.

Иваныч скосил на меня глаз, но смолчал. А я гну дальше, словно кто меня за язык тянет:

— Раненый кабан страшнее медведя...

А сам ни того, ни другого в глаза не видел. Ловлю на себе недоверчивую улыбку Иваныча, но продолжаю жать напролом. Да еще с картинками.

— Вот однажды... Было хмурое утро. Вышел на светлую марюшку, а буряк тут... На меня прыснул... Я ему

пулю в грудь, вторую в голову — и вся недолга. Ничуть не испугался. Потом немного стало страшно...

Лицо Иваныча непроницаемо. Не понять, что он обо мне думает. Вроде бы ловко врал, как на самом деле бывает. И вдруг ловлю себя на том, что начинаю подозревать всех охотников, в том числе и Иваныча, во лжи. Ведь мог же Иваныч сочинить свои байки! Тайга большая, поди узнай, где кого добыл...

Отдохнули и пошли дальше. Навстречу поземка метет.

— Хорошо идем, против ветра, — говорит Иваныч, — зверя не одушим.

На лезвии хребта мы увидели свежий след медведя. Иваныч осмотрел отпечатки лап на снегу, храня каменное спокойствие. У меня же засосало под ложечкой, во рту стало сухо. Но вида не подаю. И самым безразличным голосом говорю, будто всю жизнь тем и занимался, что читал на снегу следы медведей:

— Хорош варнак. Эдак пудиков на двадцать будет.

Иваныч усмехнулся, ковырнул носком унта и согласился со мной:

— Верно. Вначале я не поверил, что ты бил медведей, а сейчас верю. Не меньше двадцати.

Глянул я на Иваныча, а у него лицо белее снега. Хотя, конечно, не беличий след тропить собираемся, а самого хозяина тайги.

— Идем, Иваныч, быстрее, — говорю я окрепшим голосом. — А то уйдет далеко.

Иваныч уныло оглядел тайгу и тихонько побрел по следу. Обернулся ко мне и говорит:

— Ежели что, так ты, Леня, стреляй с аккуратностью... Ненароком меня вместо медведя пулей не зацепи. — И таким скорбным голосом сказал он эти слова, что у меня внутри все оборвалось.

И я ему в ответ:

— Знаю. Не учи.

Вначале след шел по прямой, затем стал петлять; мишка в дупла заглядывал. Верная примета, что зверь собирался лечь в берлогу. Шишку не трогает. Шепчу Иванычу:

— Ордерок выписали на квартиру, а он, видно, запамятовал, где она. Ишь, ищет свой адрес. Надо бы разойтись, в клещи его взять. Слышал от бывалых таежников, что так вернее добывать зверя, чем по следу идти.

Иваныч даже подпрыгнул от радости и в ответ:

— Ты иди следом, а я спущусь в ключ. Увидишь первым, целься в шею, верное дело. — И, повернувшись кругом, широким шагом ушел мой Иваныч.

Шутка ли, идти одному по следу медведя! А если он рядом? Страшно. Пни горелые, выворотни древесные, все на медведя стали похожи. Иду, стараюсь сильнее шуметь: где на сук наступаю, где прикладом за ствол дерева задену, кашлем прочищу горло, авось услышит медведь и даст деру. А если убежит, кто меня осудит?

Поднялся на взлобок сопки и обомлел. Вот он, медведь, в двадцати шагах от меня когтистой лапой роет пригорок. Видно, не нашел себе квартиру, строил новую. Холодные мурашки пробежали по телу. Эх, была не была! Начал поднимать ружье. Медведь повернул в мою сторону голову и прислушался. Еще миг, и чуть было не нажал я на курок, да мелькнула трусливая мыслишка: «А ну, как не убью сразу, и он на меня навалится? Иваныч внизу, пока добежит, медведь меня в муку сотрет».

Отвел ружье вправо — и как дам по кедру! Снег с лапастых веток посыпался. Рявкнул косолапый, сложился вдвое и как двинет под гору, только снег вихрем завился сзади, да тайга загудела. Выстрелил я вслед, да что толку! Такое зло меня взяло за свою трусость, что едва ружье в щепки не разбил.

Вдруг слышу внизу грохнул Иваныч из обоих стволов двадцатого калибра. Бегу туда. Где кубарем скачусь, где юзом проеду, только бы увидеть, как Иваныч расправился с медведем!

Увидел...

Иваныч бежал по марюшке. Странным показалось мне не то, что он бежал, а то, что он через каждый десяток шагов падал, зарывался в снег головой, и оттуда вырывался столб дыма, и долетел до меня звук выстрела. В кого он стрелял? В медведя?

Бегу что есть мочи. Перепрыгиваю через валежины, влетаю в орешник. И тут, как ахнет навстречу мне выстрел! Шапку сдуло с головы, порохом обожгло щеку. Заревел я, как медведь, и к Иванычу.

А он от меня ползком да под колодину. Голову уже спрятал, одни ноги торчат. Поймал я его за ногу, и к себе. Он брыкнул второй — угодил мне в живот. Отлетел я в сторону и зарылся в снег.

— Иваныч! — ору что есть силы. — Окстись! Это я, Ленька!

Иваныч перестал брыкаться и верещать, вытянул голову из-под колодины и смотрит на меня ошалелыми глазами.

— Ты что это в человека стреляешь? — кричу ему.

— А где медведь?

— Какой медведь? Медведя я и в глаза не видел.

— Врешь, язва тебе в печенку, он где-то тут в кустах завалился.

— Да нет тут медведя, и весь сказ.

Вскочил Иваныч, выгреб свое ружье из снега, и чуть ли не бегом за медведем. Да вдруг опять как упадет. Я засмеялся. Иваныч встал, глянул на унты, а там ремешок развязался. Вот Иваныч наступал на него и падал. А с испугу — ворона может медведем показаться.

— Да-а, — тянет Иваныч, — сороковой завсегда роковой!

«Нет, думаю, Иваныч, — никакой это не сороковой, а самый что ни на есть первый, как и у меня. А первый блин — комом!»

— Пойдем, Леня, — торопит меня Иваныч, — неувязка вышла. Боюсь я сорокового. Будем косуль стрелять. Лицензии на них есть. Те при случае убегут, а эти... — Иваныч махнул рукой, — шатоломный зверь. Все норовит тебя подмять... — И так подмигнул подбитым глазом, что жаль мне стало Иваныча.

— Посмотри, — говорю ему, — что ты мне в щеку всадил? Не пулю, полагаю?

— Ежели бы пулю, то не пришлось бы нам этот разговор вести. Видно, мне под руку дробовой патрон попал. Потерпи до зимовья, там шилом выковыряю.

Стерли пот со лбов и пошли в зимовье. Там Иваныч извлек дробинку, залепил рану пихтовой смолой — зарастет, чего уж там. Но я ворчу:

— По дурости можно было бы и пулю туда всадить.

— И даже запросто, да, видно, не судьба, — миролюбиво отвечает мне Иваныч.

А я не отстаю:

— Трус ты немалый! Тебе ремешок от унта за зверя показался, а если бы вправду навалился?!

Утром снова вышли на охоту. Только теперь на следы медведей внимания не обращаем, будто их и нет на свете. Смотрим, что поменьше.

...Стояло время кабарожьего гона. Самцы в это время до безрассудства храбры. Бывает, зашумишь лещиной,

а он навстречу и выскочит. Гордый, клыки — шилья. Бьет передними ногами, фыркает на тебя. Одного такого я подвалил. Хотя у нас их за зверей-то не считают. Мясо пахнет хвоей, жесткое.

Иваныч обрадовался, сказал, что, мол, у кабарги самое «витаминное» мясо. С духом тайги. Я не любил дух того мяса. Вот косулю бы...

— Больно ты привередлив. Ешь, что бог послал.

Пришлось есть. На безрыбье и рак — рыба...

В другой раз я подвалил изюбра. Иваныч козла добыл. Охотимся с переменным успехом: то густо, то пусто...

И вот однажды, когда на тайгу стали опускаться зимние сумерки, возвращались мы с охоты. Шли речкой, где и снег не так глубок и дорога ровнее. Молчим. Речка сделала петлю вокруг утеса, и мы туда повернули. На обрывчике, рукой подать, большой бурый медведь стоял. Широкая, как стена нашего зимовья, бочина была подставлена под наши ружья. Не помню, как сорвал ружье с плеча, как раздались выстрелы. Медведь ахнул, мягко присел и начал скатываться с обрыва. В одно мгновенье перезарядили мы ружья и ждем, что будет дальше. Медведь дернулся раз, другой и затих.

— Кажись, все,— заикаясь, сказал Иваныч.— Песенка спета. — Но с места не стронулся.

Стою и я. Медведь лежит. С опаской стали подходить. Ткнул я его стволом ружья. Не рычит. Рукой потрогал. Слышу, за спиной Иваныч хохотнул. Я тоже хихикнул. Он захохотал во все горло, и я за ним.

Толкнул я Иваныча плечом, он отскочил от меня, да и пошел вокруг медведя лезгинкой.

— Гоп-ля! Гоп-ля! — выкрикивал он и тяжело, мешковато прыгал.

Не удержался и я. Плясали, пока были силы. Упарились. И ничуточки было не стыдно за проявление такой слабости.

— Иваныч, — наплясавшись, кричу я. — Это какой будет у тебя по счету медведь?

А в ответ:

— Первый. Убей бог, первый. Можешь мне поверить?

— Могу! Честное слово, могу!

— А у тебя?

— Наипервейший!

И оба хохочем до слез.

Надвигалась ночь. Надо было спешить. Накинули мы

на шею медведя две бечевки и волоком потянули его к зимовью. В избушке освежевали, свежины отведали и легли спать. Проспали почти до обеда. Сели закусить. Иваныч выбрал кусок небольше, съел и говорит:

— Берлогу я вчерась видел. В липе. Отчего бы не сходить? Видел, как все просто делается? Трах — и нету.

Собрались мы, пошли.

Низкое солнце лениво грело землю. Редкие тучки нехотя плыли по небу. Потрескивали от мороза деревья. Морозная подволока застыла на вершинах сопок. Шли быстро, только на подходе к берлоге Иваныч маленько замешкался. Издали липу приметил.

— Видишь? Тут он, лешак...

— Ты вот что, Иваныч, — опередил я его, — подходи с аккуратностью и шурни в пролаз палкой. А я буду стрелять. Да не бойся, — и хотел добавить, что, мол, со мной не такое бывало, но вовремя язык прикусил, — топором вначале стукни.

У Иваныча на лбу испарина выступила. Но виду он не подает:

— Не учи, сам знаю, что делать, — и к берлоге. Подошел к дуплу, легонько стукнул топором. Тихо. Сильнее ударил. Тишина. Осмелел и давай дубасить по дуплу изо всей силы. Зашумело внутри. Иваныч, как ошпаренный, отскочил от берлоги, схватил ружье и наставил ствол в пролаз.

Сонная морда медведя показалась из проема. Тишину разорвали наши выстрелы.

Медведь без звука свалился обратно. Подошли. Пошуровали палкой. Молчок.

— Убили, — говорю я. — Ишь как просто. Придется берлогу портить, пролаз шире делать.

Иваныч осмелел, сунул руку в берлогу, нашел лапу медведя и начал тянуть ее к себе.

«Аррррр!» — раздалось из дупла.

Иваныч руку назад, а медведь ее не пускает.

— Ленька, помоги, медведь живой! — истошно завопил Иваныч. Что есть силы рванул на себя руку и выдернул из берлоги медвежонка. Сам упал и покатился с горы. Медвежонок следом. Летят оба кубарем и что есть мочи орут. Докатились до ручья. Медвежонок вскочил — и в лес, а Иваныч с ножом следом.

— Держи его, шельмеца! Держи!

Но где там!

Вернулся Иваныч и спрашивает:

— Ну как я его, здорово шугнул?

...Отпуска наши окончились. Возвращались мы с богатыми трофеями: пять косуль, двух изюбров, четырех кабанов и двух медведей сдали на заготовительный пункт. И себе оставили. На свежину собралось много друзей. Шли они, в общем-то, послушать рассказы Иваныча.

Выпили по первой, друзья стали просить Иваныча рассказать. Иваныч посмотрел на меня и лениво махнул рукой:

— А чего рассказывать-то? Ну убили двух медведей, одного мальца отпустили, пусть растет. Вот и все.

— Как все? — ахнули слушатели.

— Интересного нету. Ну, стреляли — убили...

«Да, — подумал я. — Большого мы сказителя потеряли. Лучше бы не встречаться с медведем. Какой фантаст погиб!»

Страна Цункария

На западе гигантским шлейфом распласталась туча, грязно-серая, косматая. Солнце, проскользнув между разрывами туч и ершистыми сопками Сихотэ-Алиня, закатилось. Прошла минута, другая, и вдруг туча вспыхнула, из нее во все стороны брызнули искры. Туча засияла огненной лавой, словно выплеснули в небо ковш расплавленной стали. Не тронь! Сгоришь!

Ровно гудел мотор «газика». Наша машина бежала на запад, к туче. Сейчас мы выскочим на сопку, нырнем в эту лаву и сгорим.

И тут я услышал, как застучали звонкие молоточки небесных кузнецов, заухали молоты, запела серебряная наковальня. Туча начала остывать. Появились всполохи, они шли от краев лавы, затем продвинулись к центру. Туча порозовела, вскоре стала малиновой, и под конец приобрела цвет терпкого бордового вина, подернулась окалиной. Остыла. Туча смялась под ударами молотов, и тут же на ее месте засиял тонкий серпик месяца. Отковали его кузнецы из стали-нержавейки и пустили гулять по небу. Если хочешь, бери тот серп в руки и жни хлеба. Не затупится он.

Однако недолго погулял месяц по небу. Улыбнулся нам и ушел вслед за солнцем. Кому-то еще подсветить, кого-то порадовать.

Семен Пороша глубоко вздохнул, ослабил руки на баранке, тихо сказал:

— Красотища! Вот ее-то никому не отнять. Не подвластна она человеку. Остальное можно враз свести до нулика.

— Не ворчи, Пороша,— буркнул Шалый.— Твое дело крутить баранку. Вот и крути.

Семен Пороша наш шофер. Фамилия у него мягкая. И когда я произношу ее, то чудится мне пушистый снег, что упал на тайгу. Первая пороша, по которой легко тропить зверя. При первой пороше и зверь как-то растерян, не пуглив. Но внешность Семена далеко не мягкая. Он глыбастый, большой, на людей смотрит из-под насупленных

бровей, каждого ощупывает колючим взглядом. Молчун. В старое время ему бы на росстанях сидеть и грабить купцов с золотом. Моя бабка, когда впервые увидела Порошу, так и сказала: «Разбойного вида человек. Сторонись его, сынок...» Но она ошиблась. Семен — добряк. Ему тогда было за тридцать лет, а мне всего восемнадцать. Познакомились мы с ним на дороге. Иду однажды — машина стоит, а из-под нее ноги торчат. Подошел, спросил: «Помочь?» Пороша вылез из-под машины, оглядел меня. Рыкнул: «Ну чего встал столбом, прокрути мотор ручкой. Хорошо. Еще разок. Теперь держи ключом болт. Я заверну гайку. Отлично. Как звать-то? Андрей? Ниче имя. Жрать хочешь? Лезь в кабину, доставай торбу. Работы у нас еще хватит. Поможешь? Одному мне не управиться. В отпуску, говоришь? Где работаешь?»

— Слесарем в автогараже.

— Тогда мы с тобой за полдни все сделаем. Понимаешь, провернулся коренной подшипник...

— Поставим ремень, и дотянешь до гаража, — подсказал я.

В работе мы и сдружились с Порошей. Он учил меня водить машину, был частым гостем в нашем доме.

...Шалый не хотел меня брать в страну Цункарию, боялся — проболтаться могу...

— Тогда и я не поеду, — заявил Пороша. — Шабаш! Случись что с машиной, кто поможет? Вы? Так вы ни «а», ни «бе» в нашем деле. Машина тонкая штуковина, если кто понимает.

Так мы и поехали в страну Цункарию. Где она расположена? Не спрашивайте. Этого вам не скажет ни Семен Пороша, ни я. Разве что Шалый проболтается или король той страны, а мы дали обет молчания. Есть она на карте, но без названия. Лежит в самом сердце седого Сихотэ-Алиня. Лежит и дремлет. Есть туда и дорога, хоть плохая, но есть. И чем меньше будут знать об этой стране, тем дольше она сохранит свою первозданность.

Семен Пороша гнал машину в страну Цункарию. Рядом с ним сидел Петр Семенович Шалый. Я смотрел на его тонкий нос, на тщедушную фигуру и думал: «Отчего люди могут быть так подлы?»

Шалый — натурой властен. Голос резкий. С улыбочкой с этакой подловатой — вкатит тебе выговорок за самое простенькое замечание. Похлопает по плечу и скажет: «Бей своих, чтобы чужие боялись». Но никто не помнит, чтобы

Шалый себя обидел. Я даже знал, что он в тот час думал: «Завхозу поставлю рабочее время. Пороше отгул. Себе выпишу командировку». Словом, это тот тип начальников, которые живут по пословице: «Своя рубашка ближе к телу».

Ночь. «Газик» бежал и бежал через сопки, резал тупым радиатором тьму, рвал ее на части фарами. Увозил нас подальше от цивилизации и сутолоки людской. На берегу речки Арзамасовки Пороша остановил машину, сказал:

— Спать хочу, — выключил мотор и первым вышел из машины.

Мы развели костер. Залезли в спальные мешки. У каждого спальный мешок по чину: у нас с Порошей ватные, у Шалого пуховый, у завхоза меховой.

На эту рыбалку нас заманил Василий Цупкарь, король той самой страны, в которую мы едем. Василий Первый. Я не оговорился. В такой сан его возвели сельчане той столицы, которая состояла из двадцати дворов. Это случилось пятьдесят лет назад. Еще до революции. Приехали молдаване, сами выбрали себе место у Сихотэ-Алиньского хребта, поставили деревню. И тут родился первый ребенок. Кто-то возьми да и скажи: страна, мол, есть, но нет короля. Другой сказал: вот родился мальчонка, пусть он и будет королем.

«Да здравствует король! Вечная лета! Вечная лета!» — закричал самый развеселый мужик по фамилии Чеботарь. Сапожник. Раньше сапожников чеботарями называли.

Так и стал Василий королем таежной страны, прямо с пеленок. Но на мой взгляд, сельчане сильно ошиблись, что посадили на трон такого короля. Ростом он не вышел. Не король — недомерок. Голос тонкий. Говорит, будто горохом сыплет. Характера изворотливого. Может тут же отказаться от своих слов, если это ему выгодно. Властности — ни с гулькин нос. Подхалим к тому же.

Шалый часто издевался над Василием: не король ты — рохля, тебе бы швейцаром быть у короля.

Цупкарь икал, умильно улыбался, трусил. Не король, а одно недоразумение. Свои физические недостатки высмеивал. Это уже совсем не по-королевски. Шалому надо бы быть королем. Этот бы не дал никому пикнуть. Всех бы зажал в кулак.

...Утром мы с Порошей проснулись первыми. Вылезли из мешков. Нас цепко обнял утренний холодок. Тело сразу покрылось гусиной кожей. Пороша долго прыгал на одной

ноге, не мог попасть в штанину. Оделись. Семен бросил колючий взгляд на своих начальников. Они были похожи в спальных мешках на червей-чилимов. Есть у нас такие в речках. Из них вырастают бабочки.

— Чилимы, — хмыкнул Пороша и пошел ломать хворост на костер.

...Мы сели пить чай. Семен Пороша взял в руки кружку, она тут же утонула в его ладонях. Он лениво жевал хлеб. Выпив одну кружку чаю, второй прополоскал рот, поднялся, сказал спасибо и закурил.

Василий Первый ел так, словно куда-то спешил: давился хлебом, его острый кадык на шее сновал челноком. А еще король!

Шалый ел не спеша. Я думал, что выпьет одну кружку, и все. Много ли такому телу надо? Однако Шалый пил и пил одну кружку за другой, дул на кипяток, вытягивал тонкие губы. Каждый ломоть хлеба ощупывал тонкими длинными пальцами, будто примерялся к нему. Откусывал большими кусками, отчего щеки надувались шарами. Мелкими желтыми зубами грыз сахар. Когда он выпил шесть кружек, я ляпнул:

— Живота нет, а столько выпили?

Шалый допил чай, степенно ответил:

— Разве это еда. Так — червячка заморил.

Семен хохотнул. Василий заметил:

— Нутряный вы какой-то, Петр Семенович.

— В жизни так и должно быть. Все внутри, и ничего на виду. Для всех — улыбка, а остальное мое и для меня. Улыбайся — враг не тронет. Всем улыбайся, кто посильнее тебя. Сгодится. Таков наш век.

— На свой аршин всех меряете? — заворчал Семен Пороша.— Ошибаетесь. Улыбку тоже можно разгадать.

И снова за машиной тянулся пыльный след. Она спешила туда, где, по словам Василия Первого, тишь, гладь и нет цивилизации.

— Цивилизация — съела настоящего охотника и рыбака, — кривил губы Шалый. — Все измельчали, стали браконьерами. А все ли браконьеры? Я не назову нас браконьерами. Надо же нам рыбешки добыть про запас. Куда ни шагни — везде запреты.

— Только в море разрешено ловить сетью симу, — возразил Пороша.

— В море! А ты поймай ее в море, если там разрешено ставить сеть не более двадцати пяти метров. Море велико.

Там не разбежишься. Да, живали раньше люди... Оставили нам охвостье.

— Мы другим и этого не оставим, — не унимался Пороша.

— Чего нам заботиться о других. Самим бы пожить. Человек — букашка. Был — и нет. А пожить по-людски хочется, — гудел Шалый.

«Газик», не сбавляя скорости, пролетал через деревушки. Они мирно дремали под солнцем. По улицам бродили петухи-задиры, ленивые собаки. На полях тарахтели тракторы. Шефы убирали картофель.

Шалый завел разговор об одной из загадок природы.

— Сима — рыба лососевая. Мечет в реках икру, растет в море, умирать приходит сюда. Рядом же в наших реках пеструшка. Вы только посмотрите, как они похожи друг на друга: телом, расцветкой. Есть заключение, что пеструшка выводится из симовой икры. Чепуха все это.

— Писали об этом в газетах. Не должно быть чепухи, — подал голос Василий Первый. — Газеты чушь писать не будут.

— Хе, не будут! Еще как пишут! Сами посудите — сима до пяти килограммов растет, а пеструшка и полста граммов не вытянет. Где же логика? Разве может родиться от гиганта пигмей?

Этот спор среди наших рыбаков давний. С симой все ясно. Она растет в море три года. А вот кто есть пеструшка? Из какой икры она выводится? Того рыбаки не знают. Редкий рыбак ловил пеструшку с икрой. Ловятся одни самцы с молокой. Так из чьей же икры выводится пеструшка?

Одно время даже штрафовали за отлов пеструшек: мол, это будущая сима. Брали тридцать копеек за штуку. Особенно рьяно вел себя Чепкасов. Поймал и меня однажды с поличным. Надергал я удочкой до полста штук. На пятнадцать рублей набегало. Чепкасов с ножом к горлу: плати штраф.

— Хорошо, заплачу. Но только за тех пеструх, которые с икрой.

— Лады. Режь всем животы.

Чепкасов — человек недалекий, не рыбак. Не знал тайны пеструшек. Сказали: штрафовать, — вот и бесится.

Пятьдесят пеструшек были вспороты, и ни одной с икрой. Чепкасов в недоумении: как же так?

— А вот так, — говорю я ему, — человек я честный и ловил только самцов.

Чепкасов ошалело посмотрел на меня, икнул и пошагал прочь.

Может быть, пеструшка из симовой икры выводится? Говорят, если самец обольет симовую икру молоками, выведутся пеструшки. Но я видел другое, когда стая пеструх преследовала самку-симу. Она метала икру, те на ходу ловили икринки и тут же пожирали. Самец хватал их зубатой пастью и перекусывал надвое. Но рыбешки не унимались, пока икра не была зарыта камнями.

— Э, чего лезти в дебри учености? — пробасил Пороша.— Ученые пусть этим занимаются. Нам недосуг.

— Верно, пусть они спорят и рядят, а мы будем ловить симу, — хихикнул Шалый. — Все народное. И мы народные. Будем ловить рыбку народную.

Семен нахмурился, еще крепче сжал баранку, сказал:

— Не понимаю я вас, Петр Семенович. Человек вы грамотный, начитанный, а не хотите уяснить, что народное — это не наше с вами.

— Не веди агитку. Я еще в детстве читал такое на плакатах.

— М-да. Нашей симе — хоть на деревьях прячься или в землю закапывайся. Все хотят красной рыбы. Икорки тоже. Где же людская честность?

— Честность, Пороша, в моем желудке. А потом, мне важна не сама рыба, а процесс рыбалки. Я потомственный рыбак и охотник. У меня это отняли. Могу я поддаться зову предков? Могу. Поймаю ту симу, подержу в руках и назад брошу. Пусть плывет.

— Да ну! — удивился Пороша и просмотрел яму.

Машину сильно тряхнуло. Шалый заворчал:

— За дорогой смотри. Гони и не ворчи. Начальника везешь. И весь этот разговор — женский! Попал в нашу стаю, будь нашим. Понял?

Пороша ничего не ответил. Главная трасса кончилась, выехали на проселочную дорогу. Машина еще чаще зарыпала на ухабах, забуксовала в грязи, натужно поползла на перевал.

Ехали час, два, три. Показались поля. Василий Первый весь напрягся. От полей шел знакомый с детства запах сжатых хлебов. Пахло еще гниющими помидорами.

— Здравствуй, страна Цункария! — слезливо прогово-

рил король и попросил остановить на полях машину. — Примай своего сына!

Цункарь осторожно ступил на родную землю, которой он изменил лет двадцать тому назад. Ушел в цивилизацию. Плюнул на свое королевство.

На поле, усыпанном помидорами, паслись коровы. Сочный хруст раздавался со всех сторон. Василий схватил камень, бросил в корову и зло закричал:

— Цыля! Пошла вон! Братцы, что же делается? Ить это помидоры...

Из кустов вышла пастушка, щелкнула бичом и мягко пропела:

— И чегой-то вы, дяденьки, камнями в коров пуляете? У них ить молочко на язычке.

Шалый уже успел набрать полную кепку помидоров и при виде пастушки смутился. Неудобно все же воровать. Но пастушка его ободрила:

— Берите, сколько ваша машина увезет. Вишь, коров пасем. Списали это поле. Разумеете?

— Не разумеем! — побагровел Василий.— Кто списал? Кто разрешил? Это же преступление! Народное добро губите!

— Набивайте машину помидорами — и с богом.

— Гони коров с поля, — орал король. — Гони, говорю!..

— Не погоню. Вы ить такое же начальство, как и я. Не орите. Я мужика подменяю. Он с директором совхоза симу ловит. Симы страсть сколько подвалило. Вы ить тоже приехали за ней...

Василий Первый прыгнул в машину. Она резко взяла с места. Шалый, хихикая, иронически бросил:

— Эх ты, король!

Василий Первый переживал:

— Сколько тысяч брошено.

— Сказала же тебе баба, что поле списано. Чего же еще? Вот и симу когда-то спишем.

— Не спишем, — вставил Пороша. — Врежут как следует таким, как мы, — и будет жить сима.

— Ты, Семен, что-то не в настроении, — с угрозой заговорил Шалый. — Для нашего дела — это плохо. Подумай.

— Подумаю...

В бывшем доме короля нас встретили без фанфар и почетного караула. Но застолье было многосольное: сима жареная, вареная, вяленая, симовые брюшки, икра —

горой, самогону — море разливанное. Пили много, ели еще больше. Король после обеда пошел проведать родню. Мы с Порошей забрались на русскую печь подремать. На печи пахло печеным хлебом, подсолнечными семечками. Семен шумно тянул носом, вспоминая полузабытые запахи. Часа через два собралась королевская родня. За столом шум, смех, объятья, воспоминания.

— Было времечко! — гремел кто-то из Чеботарей. — Зверь ходил на огороды! Сима сама лезла в руки! Было! Было, Васька!

— Не Васька, — кто-то поправил Чеботаря. — Василий Первый!

Василий пыжился, стараясь стать выше ростом, шумел и суетился. Потом опьянел. Его уволокли в горницу и положили на скрипучий диван.

Утром было похмелье. Опохмеляться пришла почти вся деревня. Но пили мало: хватят стопку, и за дверь. Потом мы вооружились острогами, похожими на трезубец Нептуна, и пошли на реку. С нами шел Чеботарь. Все выглядело обыденно, просто. И я усомнился: браконьерство ли это?

И вообще, слово браконьер в нашем таежном краю не звучит ругательно. Наоборот, чаще принимается как похвала. Браконьера считают умелым, умным и находчивым рыбаком или охотником. Оно и верно. Добыть изюбра много проще, чем доставить его домой и съесть. Ведь когда варишь изюбрину, запах дичины для опытного носа слышен за полверсты. А таких носов, как говорил Шалый, у нас «мильен».

В стране Цункарии никто никого не боялся. Зверя били, когда кончалось мясо в доме, рыбу ловили, когда она была. Сюда руки охранников природы еще не доходят.

— И не дойдут, — похохатывал Чеботарь. — Сам рыбнадзор здеся пасется. И охотинспектор в доску наш. Понимать надо. Ежли они нас поприжмут, то мы их тоже.

И вот загремели наши остроги по камням. Забилась на зубцах сима. Полилась икра из распоротых острогами животов. Особенно хорошо работал Чеботарь. На его работу смотреть — одно удовольствие. Он бросал острогу за десять метров без промаха. Рыбина мчится что есть силы. Чеботарь, занеся острогу над головой, скачет по берегу следом. Взмах руки. Бросок. Острога летит в воду, впивается в хребет. Все. Чеботарь за веревочку подтягивает добычу к берегу.

— Чисто работаете, — похвалил я Чеботаря.

— С детства этим занимаюсь. На сегодня будя. Пятнадцать штук добыли. Заварим ушицу, щелканем по мерзавчику, передохнем и выбирать место поедем для сетей. Сетями легче ловить: и бегать не надо.

Неторопливо потрескивал костер. Неназойливо шумел перекат, стлались над речкой туманы. Сквозь густые кроны деревьев заглядывали к нам звезды. И все же было зябко и неуютно. И звезды, и речка, и даже костер не навевали той романтики, какая бывает на честной охоте. В небе прогудел самолет. И снова таежная тишина.

— Сима... Сколько бед от нее люду. Штрафы, гонения. Неправедно, — философствовал Чеботарь. — Ить она идет сюда подыхать. Чего ее жалеть? Сдохнет и прокиснет на берегу речки. А так мы хоть сыты будем.

— Но ведь так мы можем загубить симу,— возразил Пороша.

— Запросто! — согласился Чеботарь. — Сгубим зверя и рыбу, потом изделаем коров дикими и будем на них охотиться. Рыбу особую выведем, которая сдури не будет лезти в сети. Антиресно — дикая корова.

— Мало интересного, можно дойти и до того, что крыс будем добывать по лицензиям.

— Тожить антиресно.

— Хватит тебе, Пороша, нудиться, — пробурчал Шалый. — Анекдотик не хотите ли?

Шалый долго и нудно рассказывал старые анекдоты, над которыми даже Чеботарь не смеялся. У меня было желание запустить в Шалого головней. И запустил бы, не будь он начальником. Пороша не стерпел, взорвался:

— Заткнитесь!..

В реке загудела сеть.

— Есть! — заорал король, бросаясь в воду. Вскоре он вынес на берег здоровущую самку.

— Таперича ловите. Я сосну маненько. Рыба попрет.

Речка отливала чернотой нефти, пугала бездонностью. И, казалось, стоит в нее забрести — она тут же закрутит в водоворотах, затянет в омут.

Василий Первый держал на вытянутых руках симу. Она билась, хлестала хвостом короля по плечам, щекам. Он хохотал и матерился. Потом бросил рыбу под ноги Шалому.

— Дюбни ее по башке, чтобы икру не теряла, — рас-

порядился Шалый. — Сейчас каждая икринка на вес золота.

— М-да-а, — протянул Пороша. — Неправедно все это. Хороша рыба. Вымечет икру и сдохнет. Силов, что ли, у нас маловато? Поставили бы на каждой речке рыбзавод, брали бы из симы икру для расплода, а остальное — народу.

— Неправедно и помидоры травить скотом, — отпарировал Шалый. — Травим?!

...И сима пошла. Шалый шипел на нас, чтобы быстрее ее выбирали. У костра росла гора рыбы. После каждой пойманной рыбины Шалый начал сбавлять голос, оглядываться по сторонам. Трусил. И было с чего. Ведь за каждую симину — штраф десять рублей. Он понимал, что большая часть вины падает на него. Лицо у Шалого стало суше, глаза покраснели, как у рассерженного медведя.

Король был спокоен. Он таскал и таскал рыбу из реки. Хохотал, кричал:

— Подходи! Навались! Во прет! Сеть бы не порвала. Не переведется рыба. Нет! Помогай, Пороша!

Пороша, отходя от сети, сказал:

— Вы рыбаки, я — шофер. Мое дело — крутить баранку. Ловите.

Шалый было закричал на Порошу: мол, хочешь уйти от ответственности, на других вину свалить... Пороша остался непреклонен. Лег в машину и задремал.

Я помогал выпутывать симин из сети и пинал сапожинами ту рыбу, которая перла в снасть. Она прыскала от меня и тут же попадала в сеть. Мне стало страшно. Я незаметно поднял край сети. Тугой поток рыбы хлынул в проем.

— Не бойтесь! Никто сюда не приедет. Ежли кто и поедет, то нам брякнут по телефону, — успокоил нас Чеботарь. — Есть у нас доброхоты. Рыбнадзоры — тоже люди. Видите скалы? Там жила тьма горалов. Потому та гора и называется Горальей. Красивущий зверь. Гордый. Стоит, бывало, на скале и не шелохнется. Торкнешь — покатился. Ить в руках-то винтовка. Она далеко достает. Я их перебил — счета не знаю. Особливо последний был вкусный. Теперь там чисто. Волки и те обходят гору. Теперь шерстим изюбров. Есть-то надо.

Хвастливость Чеботаря выбросила Порошу из машины. Он заорал:

— Сволочь ты! Чем хвастаешь? Таких надо вешать! Вешать! Последнего горала убил. Гад!

— Это с чего же на меня такая оскорбительность? — загремел и Чеботарь. — Я вам сеть дал, место рыбное показал... Маюсь с вами — и вот какой получил привет! Нет, так не пойдеть.

— Ты, Пороша, замолчи! Это женский разговор! Сказано — твое дело шоферское, — и баста! — резко заговорил Шалый. — Молчать! Сказано раз — и все!

Скалы Горальей горы хмуро смотрели на нас. Теперь там чисто. Самой вкусной будет последняя симина! И никто с голоду не умрет. Реки будут чистыми, как Горалья гора.

Я вспомнил свое босоногое, растрепанное детство. Много ли прошло лет с тех пор? Мало. Тогда в реки валом шла кета. Перекаты выходили из берегов. Рыбу ловили, кому сколько было надо. Ход прекращался. На косах звери питались рыбой. Нас посылали по косам, чтобы мы гнилую рыбу сбрасывали в речку. Ветер приносил дурной запах в деревню. Там мы видели енотов, медведей, харз, выдр и тысячи ворон. Даже изюбры ели ту рыбу. Теперь нет дурного запаха, реки стали тоже чистыми.

— Ты, Пороша, не горячись. Твой запал ни к месту. Ить дураку ясно, что симе — крышка. Никто не спасет. Быть повешенным, то знай — не утонешь, — успокаивал Семена Василий Первый. — Потому лови симу, ешь и не думай, что будет завтра.

Пороша ушел к реке и там просидел до утра. Утро было морозное. Мы чуть вздремнули и начали пластать рыбу. Чеботарь ушел на работу. Шалый острым ножом резал симин по хребту. В животах самок тугой массой лежала икра. Малиновая икра лилась в бочонок. Лилась и лилась. Я солил рыбу в ящиках. Василий Первый готовил шарбу. Пороша сидел в стороне и грыз ивовый прутик. Потом мы сварили тузлук. Воду чуть остудили и туда высыпали икру. Продержим тридцать минут и снова ссыпаем икру в бочонок.

За завтраком Шалый говорил:

— Ну, чего ты, Пороша, мечешься? Заготовили рыбки, икорки на зиму. Будь все это в магазине, не поехал бы я на такое дело. Притом я икорку и рыбку хочу каждый день на столе иметь.

— Все хотят...

— Не будем спорить. Еще ночку половим — и домой,

чтобы у каждого было по бочке рыбы, по бочоночку икры.

— Нет, товарищ начальник, побаловались, и будя. Мне домой пора. Отгульные дни кончаются.

— Как это домой? Ты в командировке.

— Такая командировка не по мне.

Порошу переубедить не удалось. Возвращались домой ночью. Шалый и Василий Первый дремали на заднем сиденье «газика». Я тоже подремывал. Проснулся уже у дверей милиции. Пороша вызвал дежурного и все доложил честь по чести. Вот шуму было. Шалый с кулаками на Порошу. Король на меня. Но нас развели. Приехал начальник милиции. Пересчитали нашу рыбу. Икру взвесили. Акт составили. Допрос сделали, хотя он был ни к чему. Преступление налицо. Выписали квитанции на штраф. Порошу хотели не трогать, он зашумел:

— Выписывайте и на меня. Тоже был с ними. Не хочу, чтобы за донос мне делали скидку!

...Шалый через неделю уволил Порошу с работы. Он перешел к нам в гараж слесарем. За баранку больше не сел. Многие долго сторонились его, мол, доносчик, стукач... Но потом полюбили Порошу, за доброту и честность полюбили. Бывали мы с ним не раз на рыбалке. Ловили даже симу, но не так жадно.

Завалящий медведь

Приглашение на медвежью охоту, которое я получил от этих двух молчаливых «охотников», меня не очень обрадовало. Закралось сомнение, что они не те, за кого себя выдают. А на медведя идти с кем попало — не советую. Зверь не шуточный. В моем столе хранятся его клыки, которые могут служить хорошим предупреждением.

Но они так настойчиво уговаривали меня, что я вынужден был дать согласие.

От людей я узнал: летом они оба пасут коров, осенью уходят за орехами и даже белку промышляли. Хвалили их, как хороших охотников, будто бы даже их штрафовали за изюбра, которого они загнали по насту. А вот медведя убивать... Такого за ними никто не помнит.

Причины приглашения меня на эту заполошную охоту стали понятны позже. Говорили они в один голос, что, мол, не пожалеете. Медведь лежит в берлоге, только его надо взять.

— А убивали вы их раньше? — спросил я «охотников».

— Возили возами,— ответил Гаврило, а Зосим мне заговорщицки подмигнул.

Сомнения, сомнения. Я чутьем улавливал, что они не охотники по крупному зверю, неповоротливые, слова не вытянешь.

Ведь настоящий зверовой охотник тем и отличается от липового, что он верткий, походка упругая, с огоньком и хитринкой в глазах.

Махнул я рукой на все сомнения и решил: что я теряю, хоть берлогу покажут.

Вышли мы ранним утром, чтобы к вечеру успеть на зимовье. И как только я увидел этих таежников, во мне снова проснулось недоверие к ребятам. Одеты они были с иголочки, словно манекены, снятые с витрины охотничьего магазина. Ружья блестят, новеньки. Брюки, сшитые из грубейшей ткани, при ходьбе издавали такой шорох, будто горох в решетах веяли, птички шарахались от нас во все стороны. Поверх фуфаек они натянули брезентовые куртки. Кирзовые сапоги были густо смазаны солидолом.

Для сбора кедровых орехов такая одежда впору, но для охоты — извиняюсь. У хорошего охотника одежда новой не бывает. Он прежде чем выйти на охоту, фуфайку бросит потрепать псу, верх шапки у него всегда ободран, потому что, продираясь через гущару таежную, он бодает ее головой. Локти фуфайки ободраны до ваты, им тоже немало приходится «воевать» с чащами. Не пойдет охотник в тайгу и в кирзовых сапогах. Из них он сошьет ичиги, оторвет толстые подошвы и пришьет легкий корд и обязательно с рантом, чтобы при спусках с сопок можно было на рант опереться.

Ружье — это оценка его трудов. Ложа зашарпана, омытая дождями и снегом, теряет всякий блеск. Да и чистят дробовики охотники не часто, была бы дырка — пуля вылетит.

Хоть я и не пытаюсь причислять себя к настоящим охотникам, но одет я был по-настоящему. Все на мне выдержано и доведено до охотничьей кондиции: шапка — рвань рванью, фуфайка — брось на тропе — никто не поднимет, легкие ичиги на ногах, на плече ружье, которому было к тому дню за полсотню лет.

Смутил я своим видом напарников. Мое ружье они чуть ли не языком лизали, чтобы узнать его ценность. И невдомек им, что ту фуфайку я бросал псу, и он от скуки грыз ее почти месяц. Шапку с пугала огородного снял. Зимой пугать некого.

Идем. Январь был по-морозному сух. Редкие облачка бороздили небо. Ни ветерка, ни вздоха тайги. Солнце надело на себя ушастую шапку и знай себе улыбается нам.

— К непогоде это, — уронил Гаврило.

— Стало быть, — согласился Зосим.

Далеко слышны шорохи наших шагов, особенно моих напарников, будто кто драчовым напильником строгал по железу. Надеяться на то, что кто-то нам встретится из зверей на тропе, нечего было и думать. От такого шума они за девятую сопку убегали.

К вечеру пришли в зимовье. Но что это было за зимовье! Маленькое, кособокое, оно, казалось, так и спрашивало нас: «Ну какой дурак слепил меня такую неказистую? Даже гляделку позабыли поставить. Кто пришел — и не увидишь. Эх! Увидеть бы мне этих варнаков, лодырей, в глаза бы плюнул. Срам. Кто ни придет сюда ночевать, тот и кроет меня матом. А при чем я? Чтобы у моих хозяев руки отсохли, чтобы их медведь задавил...»

— Это наши с Зосимом хоромы, — похвастался Гаврило.

— Кубыть так, — кивнул головой Зосим.

— Отчего же у вас труба торчит в стене, а не над крышей? — не удержался я.

— Чтобы на других не было похоже. У всех над крышей, а у нас сбоку. Здорово!

— Такого свинушника не видал в тайге, — в сердцах выпалил я, когда заглянул в зимовье.

— Недосуг. Было бы где переспать, — ответил Гаврило.

Пока они готовили дрова на ночь, я прибрал в зимовье, свежего лапнику наломал на нары. В избушке стало светлее.

Поужинали. Перед сном я спросил:

— Ну, как вы нашли ту берлогу?

— Хе, дык мы в ней с десяток медведей спроворили, — ответил Гаврило. Зосим при свете плошки лишь криво усмехнулся.

Утром они раскрыли свои карты.

— Такое дело, — начал издалека Гаврило, — все мы смертны, у нас есть внуки и дети, живем однова, потому хотелось бы, чтобы вы... Мы, значится, будем добывать того медведя, а вы постарайтесь все моменты охоты снять, а потом тиснете все это в газету. Ну и писнете чутка, — окончил Гаврило свою историческую речь, смахнул бусинки пота со лба и поднялся.

— Ага, вы уж, Степушка, постарайтесь. За нами не пропадет.

Едва порозовел восток, мы вышли. Перевалили один хребет, другой, свалились в северняк, и на носочке сопки я увидел старый тополь в пять обхватов. Пролаз в берлогу был настолько широк, что впору въезжай на коне.

— Тута, — прошептал Гаврило.

— Здеся, — согласился Зосим.

Над пролазом курился легкий дымок.

— Ты, Степа, полезай вон на ту березу, оттуда будешь нас сымать. А мы почнем. Кубыть никуда не ушел.

— Запиши, что такое случилось шешнадцатого января, — шепнул мне Зосим. — Живые люди о живом думают.

В смелости Гавриле нельзя было отказать. Он первым шагнул к берлоге и начал стучать топором по дуплу.

Я влез на дерево. Ружье зацепилось за сук и упало

в снег. Бог с ним, внизу два ружья, главное, сделать хорошие снимки.

Посмотрел на Зосима, который должен был первым стрелять в зверя. Ружье его выделывало невероятную кадриль. Промажет. Видит бог, промажет! Знаю, сейчас начнется такой ералаш, что святым будет тесно. Снимаю колпачок с объектива, ставлю диафрагму, выдержку, навожу на резкость...

Гаврило начал часто стучать топором, тополь загудел. Тихо. Гаврило вырубил палку и начал ей шуровать в дупле. Раздался рев. Высунулась когтистая лапа — медведь сорвал с Гавриловой головы шапку, потом выскочил из дупла и бросился на человека. Гаврило закричал, кинулся к Зосиму:

— Стреляй, ножа те в горло! Бей! А-а-а-а...

Зосим разрядил ружье в воздух. В медведя ему нельзя было стрелять, потому что он сросся с человеком, и крутились они, особенно Гаврило, что и на мушку не поймать.

Медвежонок, которому не было еще и году, исправно бил лапой по голове Гаврилу.

— Стреляй, мать твою! Ножом режь!

Тут уж было не до фотографий. Я спрыгнул с дерева, громко затрещали кусты под березой. Зосим оглянулся, бросил ружье в мою сторону и с ревом припустил под гору. Медвежонок соскочил с плеч Гаврилы и кубарем покатился за Зосимом.

Гаврило упал на снег, катаясь, громко стонал и плакал:

— Ой, мамочка!.. Ой, родная!.. Он ведь за свою жисть дохлой козы не убил. Ранил одного зайца, и того мне пришлось добивать. Гад. Убью, паразита!

В моей котомке оказались бинты и ампула йоду. Я, как мог, перевязал раны Гаврилы.

— Здоровый, чертяка. Пудов пять будет, — начал заливать Гаврило.

— Так то ж медвежонок был. Пестунок. Пары пудов не потянет.

— Ну?! — удивился Гаврило. — Убег, значит?

— Убег, — говорю я.

В эту минуту в берлоге зашуршало, загремело. Гаврилу как ветром сдуло. Показалась морда зверя, раздался рык. Я вскинул свой двенадцатый громобой и, не целясь, разрядил по пролазу. В одном стволе была двадцатиграммовая пуля, во втором крупная картечь. Зверь про-

тяжно заревел, начал выбираться снова. Я дал еще один дуплет, и все стало тихо. Оглянулся, чтобы позвать Гаврилу, а его и след простыл. Осторожно заглянул в дупло. Посветил спичку, медведица мертвая. Одному не вытянуть, поэтому я заспешил за Гаврилой. Догнал его почти у зимовья. Пошли вместе. Молчим.

На пороге избушки нас встретил Зосим. Он широко улыбался:

— Убёг, сволота! Сколько я за ним ни гнался — убёг! Ну ин ладно, добро был бы настоящий медведь, а то ведь завалящий. Вот выскочи большой, тогда бы мы показали ему кузькину мать.

— Боюсь, что если бы выскочил настоящий, то мне пришлось бы одному идти домой, — прервал я Зосима.

— Не скажите, рази мы их не бивали? — врал Зосим.— Ну, а как он тебя, друже, разделал. Теперь придется тебя держать на больничном.

Гаврило молча подошел к Зосиму, отвел руку и такую дал затрещину, что Зосим ткнулся носом в снег. Поднялся и с прежней флегматичностью спросил:

— За что?

— За все прошлое и за два года вперед. Захотел в газету попасть, теперь попадем в фельетону. Знаю я их. Распишут, и себя не узнаешь. Потом спробуй отмыться. Осрамились перед людьми.

— Ну, тогда ничего. Я думал, за другое.

За другое Гаврило не имел права бить, потому что сам сбежал и оставил меня одного.

— Ладно, — говорю я им, — не шумите, пойдем медведицу вытаскивать. Убил я ее.

— Да ну! — удивились дружки. — Как же ты это? Ить медведя убить — дело не простое. Мы и то...

Друзья под моим насмешливым взглядом тут же смолкли.

Конец старого бродяги

Сильнее зверя, чем куты-мафа, в тайге Уссурийской нет. Куты-мафа — это тигр. Великий зверь, так называют его удэгейцы. Мафа — медведь. Великий мафа, перед ним дрожит каждый живущий в тайге. Ему уступает почтительно дорогу человек, вернее сказать, уступал в старину. Сейчас нет такого почтения к куты-мафа. И все же он остался царем зверей. Смотрите, как спокойно он идет по тайге, поигрывают мускулы под полосатой кожей, а как строги и прекрасны его с желтыми ободами глаза. Куты-мафа — Великий зверь...

Куты-мафа родился в тесной пещере.

Здесь он прожил лето, а осенью их с братом мать увела за хребет Сихотэ-Алиня. Три года бродил за матерью куты-мафа, вырос, многому научился и в одну из ночей покинул мать. Как в любой жизни, сыновья всегда покидают матерей. Ушел и куты-мафа, чтобы стать великим из великих.

Пятьдесят лет пробродил по тайге, кого только не видел на своем долгом веку: людей, зверей, чужие страны. Бывал в горах Хингана, заходил в Маньчжурию, Корею, снова возвращался назад. И вот постарел куты-мафа, отяжелели ноги, обвисла кожа на теле, повыкрошились зубы. Вернулся тогда в родные края...

Прошел еще один безрадостный день. Надвигалась стылая ноябрьская ночь. В тусклом небе висели косматые облака. Они клубились, пенились и медленно уползали за хребты рыжих сопок. Тигр лежал на жесткой листве, стонал и хрипло кашлял. Ушли его годы, растаяли, как снега в распадках. А ведь совсем недавно у него была сила и резвость, куда все делось? Когда-то был горд от сознания своей силы. А вот сейчас? Тигр понимал, что к нему пришло что-то страшное, неотвратимое, отчего не уйти, не отмахнуться. Он помнит, с чего это началось, вначале из его лап вырвался кабан, затем он прыгнул на изюбра, но не допрыгнул. Потом от далеких переходов стали болеть лапы, суставы. И вот уже год, как он живет в вер-

ховьях Орочонки, старается далеко не заходить, пасет стадо кабанов, из которого берет только молодых. Крупного кабана ему уже не осилить.

А вот когда пришел месяц желтых листьев и первых морозов, куты-мафа совсем ослаб. Стал бояться медведей, нашел пещеру и там прятался от косолапых. Разве с ним раньше было такое, чтобы медведь не уступил ему тропу? Чтобы он, куты-мафа, постыдно бегал от них.

Голод иссушил его тело, голод отобрал силы. И думал тигр, что стоит ему съесть кабана — и он станет снова сильным, бесстрашным. И вот он добыл большого кабана, долго ел мясо, старательно обгладывал кости. Раньше он, царь зверей, добыв кабана, наедался и тут же уходил прочь, чтобы мелкие зверюшки могли тоже попировать. Теперь те же колонки, харзы толклись за чащей удивленные, отчего же куты-мафа не уходит, разве он забыл закон тайги, где сильный всегда оставляет кусок мяса слабому.

Кабан съеден, снова надо искать пропитание. Тигр шел медленно. Вот он услышал, как треснул сучок под копытами тяжелого зверя, на полянку вышел сохатый. Он, уловив запах страшного зверя, остановился. Затем, положив большие рога на спину, фыркнул, ударил копытом о мерзлую землю и, мотая большой головой, пошел на тигра.

Такого в жизни куты-мафа не случалось. Ему бы сделать смертельный прыжок на сохатого, как он сделал бы это раньше, но лапы его словно примерзли к земле. Однако он собрал остатки сил и прыгнул на сохатого. Но это был немощный прыжок. Тупые клыки скользнули по коже сохатого, тот отскочил в сторону и что есть силы ударил тигра рогами в бок, сбросил его с обрыва. С минуту постоял над обрывом, фыркнул и пошел своей дорогой.

Тигр лежал на холодных камнях речной косы. В ярости рвал зубами тальник, греб лапами гальку. Рычал и кашлял.

— Аррррр! Кха! Воуууу!

Тайга стала чужой и враждебной. Вот и ветер, он тоже знает о бессилии куты-мафа, взвыл, захохотал, бросил в слезящиеся глаза тигра пригоршню хвоинок.

Вышли на берег косули. Они повели точеными головками, потянули в себя воздух и как ни в чем не бывало начали пить воду, будто на косе никого не было.

Тигр пополз к добыче на животе. Но гуран, боднув рогами куст талины, закричал:

— Бав! Бав! — и начал рыть землю копытами.

Косули ушли в тайгу.

Тигр прокашлял им вслед.

Шла ночь. Медленно утягивалась в горы. На звезды наплыли тучи, и скоро повалил липкий снег. Тигр с трудом поднялся и побрел берегом речки. Речка Орочонка звенела, рокотала, нет ей старости. Нашел на косе протухшую кетину и с отвращением съел ее. Но от этого не стало легче. Боль свела внутренности. Медленно наступал промозглый рассвет. Тигр поднялся на взлобок. От него метнулся медвежонок и с ходу влетел на дубок, заскулил, начал звать маму. И она вылетела из орешника. Глаза извечных врагов встретились. Оба грозно зарычали. Раскатистое эхо прошло по горам и запуталось в распадках. Тигр медленно побрел от опасного места, медведица позвала за собой медвежонка и тоже поспешила уйти. Обманулась старая, думала, перед ней царь зверей, тот, который ударом лапы может сломать хребет, острыми клыками перехватить горло. А потом, она была сыта. Желудей в тайге с избытком, так стоит ли затевать драку?

Тигр шел тяжелой походкой. Ветер донес до него запах человека. Много раз видел он человека, страха перед ним не испытывал, но и никогда не нападал. А сейчас его потянуло на этот запах. Тигр вышел на геологическую канаву. Человека здесь уже не было — это была его рукавица, которую он бросил на бровке канавы. Тигр обнюхал потертый брезент, лизнул шершавым языком, брезгливо фыркнул.

Над головой тигра закружились роньжи, затрещали, закричали. На крик прилетели сороки, и начался гвалт. Только мудрый ворон, пролетая мимо, прокричал:

— Крык! Крык! Крык! Чего, дуры, взбеленились, я давно за ним слежу, скоро он хвост откинет, а я выклюю вкусные его глаза, вырву язык... Не тараторьте пока!

Тигр побрел дальше. Он вышел на след человека, он шел к человеку не для того, чтобы съесть его, он шел к самому сильному существу на свете. А вдруг он чем-то поможет? Тропа привела к палатке. В палатке звучала музыка, там смеялись, о чем-то кричали, но неведом был тигру язык человека. Он спокойно подошел к палатке, просунул голову в проем и тихо рыкнул, будто сказал приветственное слово.

Загремели кастрюли и котелки, люди бросились врассыпную, а один из них упал на спину, начал сучить ногами в воздухе и кричать:

— Ой, мамочка, тигр пришел! Спасите!

— Замолчи,— хмуро бросил бородач,— аль не видишь, что зверина еле на ногах стоит, чего вы его испужались? — Он спокойно сдернул с кола, который подпирал палатку, ружье и, не целясь, выстрелил в зверя.— Однова издохнет, а может, кого сдури и порвет.

Тигр подался назад, тело враз стало чужим и непослушным, красный туман застлал ему глаза, и он провалился в бездну.

Бородач поставил ружье к столу, снова сказал:

— Помогите убрать с прохода, будем запинаться. А ты, начальник, дай депешу, что на нас тигр напал, пусть дадут добро на его отстрел.

— Дак он же уже того?

— Для порядка надыть, пока Москва разрешит, то да се, потом комиссия приедет... Зови «Гранит», делай доклад...

Юбилей

В точности помню, что это было двадцать первого октября, в тот день мы решили справить кому-то юбилей, то ли в честь того, что я женился пятнадцать лет тому назад, то ли в честь дня рождения Юрки Прошина. Словом, день-то помню, а кого решено было чествовать — забыл. Но суть не в этом...

Стояла расчудесная приморская осень. Тишь. Теплынь. Красотища. Сорвется остатний листок с дерева, и то слышно, как он шебуршит в воздухе. А мы вышли в эту благодать таежную, чтобы справить честь по чести юбилей. Припоминается все же, что он был по случаю моей давнишней женитьбы. Ну да ляд с ним. Провести день в тайге.

Чтобы было каждому понятно, как и почему собрались вместе четыре здоровенных мужика, скажу, что мы в тот месяц отдыхали в таежной больничке «Сандагоу». Это и не в полном смысле слова больница, потому что никто здесь не лежал днями на койках, а все бродили по тайге, и не курорт, потому как не дотянула она, та самая больничка, до курорта. Один врач — Олег Александрович, две смазливые сестрички. Все лечение сводилось к тому, чтобы мы пили минеральную воду вдосталь и ели вкусные борщи тети Тани.

Идем справлять юбилей, вернее, вначале добыть десяток рябчиков. У каждого за плечами по ружью двенадцатого калибра, из которых если стрелять при полном снаряде, к тому же хлипкому человеку, то при выстреле его свободно может с ног сшибить. Тут на всякий случай надо искать опору для спины. Ружья — страх. А теперь прикиньте, каково тому рябчику? Думалось бы, что при виде этих пушек он по всем правилам неврологии должен бы в одночасье умереть: шок ли там или просто от обычного страха. Так нет, эта пикудышная птаха еще и набиралась смелости улетать от нас. Оно, конечно, если хорошо поразмыслить, то полетишь, коль жизнь дорога...

Я из бывалых охотников, потому с напарниками провел по всей форме инструктаж, как добывать ту птицу. Убеж-

дал, если, мол, хотите есть рябчиков без дробовой каши, то надобно стрелять их не менее как с полста метров. Наши гаубицы ненасытны, пороху горсть, столько же дроби, а рябчик-то не больше, как на две горсти вместе с пером. Влепи в него весь заряд — и будет фарш свинцовый...

Но куда там... Только зафыркал первый табунок, такое началось, что от моей инструкции и перьев не осталось. Игорь Мошкин, тот не только не отходил от дичи на положенное расстояние, наоборот, бил с десяти метров. Потом дробью его давились. Хорошо врач рядом: чуть что, окажет помощь.

Самым скромным, даже добрым оказался Юрко, тот почти не стрелял рябчиков, больше любовался ими. Натуралист. Но когда сварили хлебово, ел с завидным аппетитом. Доктор Олег Александрович бил мастерски, густым зарядом отрубал голову рябчику, плотоядно облизывался и говорил:

— Уметь надо. Рука набита.

На что набита рука? Я так и не понял. Но про себя думал, что не хотел бы я попасть под эту руку, когда в ней скальпель.

Отстрелялись быстро. Шесть рябцов сбили. Остановились в Тигровом ключе, развели костерок и начали готовить королевский обед. Ведь рябчик — еда королей. Кипит варево. Запашище — слюной изойдешь. Сварилось. Распечатали спиртное. Тосты, то да се. Жен с нами не было, хотя что я говорю о женах, ведь я один был женат, остальные холостяки. Жена моя, как водится, на основе равного права трудилась на производстве, отдохнуть еще успеет.

Первый тост сказал Олег:

— Дурак ты, дурак, Степан, для чего ты женился? Какой тебя леший заставил надевать хомут? Э, пусто, не завидую,— махнул рукой и влил в себя кружку спиртного.

— Ладно, живи,— царственно разрешил Игорь.

Потом были тосты за дружбу, за любовь и еще бог знает за что. Пили за чей-то день рождения. Словом, все было по-русски. Пить, так пить. А когда изрядно охмелели, то и разговор пошел смелее. Ясное дело, про охоту, раз мы сидим в тайге.

Игорь Мошкин, тот в тайге без году неделя, начал такое заливать, что и поверить трудно:

— Нашли мы его в берлоге. Напарник мой пас. Я впе-

ред. Запустил руку в пролаз и тяну косолапого за ухо. Не хочет, чертяка, вылазить. Тогда я сам забрался в берлогу и выбросил его под ноги другу. Добыли.

Доктор тоже не отстал от Мошкина:

— Медведь бросился мне под ноги, я ему в пасть руку, пропустил ее подальше и вывернул лиходея. Он и закрутился шиворот-навыворот.

Про медведей закончили. Начали хвалиться гаубицами. Выставили мишени. Открыли пальбу. Горы закачались. Каждый считал, что только его ружье пригодно для охоты, а у других не ружья — дерьмо...

Угомонились. Прилегли вздремнуть. Заснули. Дышим таежным бальзамом. Люди «больные», нам воздух таежный как раз надобен. А то как же?..

Проснулся я оттого, что будто кто-то во сне меня душил. Медведь не медведь, но зверюга сильный. Проснулся, полон рот шерсти. Медленно открываю глаза... Еще подумал: «Ну надо же так нализаться?» Протер глаза... Батюшки! Мама родная! В обнимку с медведем сплю. Головой потряс, чтобы отогнать это наваждение. Нет, наваждение не исчезло. А зверина уткнул свой черный нос мне в грудь и знай сопит. От него спиртным перегаром прет, как от закусочной, которые раньше называли «Голубой Дунай», «Раскинулось море широко»... Хотел отодвинуться от зверя, но он спросонок пригреб меня к себе лапой и не отпускает. Провались все на свете! Где же мои друзья? Глянул на рыжие сопки, на оголенные березки, на редкие облачка, будто прощался с белым светом. Начал шарить рукой, в надежде найти нож и... Но вдруг слышу сверху:

— Тише! Не шевелись!

Поднял глаза и увидел эту тройку на березе. Они, словно рябчики, расселись на ней и ошалело смотрят на меня.

— Стреляйте! Где ваши ружья?

— Внизу. Патронов нет, все по мишени выпалили.

— Игорь, ты, помнится, брал медведя руками, сползай, помоги, дружище. Олег, ты выворачивал этих зверей... Выручай!..

— Оно так, брали на нож и руками, но этого что-то не хочется. Ты сам спытай. Ты ить не брал их, ты ить новичок в такой охоте.

Ну не смех ли? Это мне советует Олег, который, уверяю вас, этого зверя видит впервые. И Мошкин туда же:

— Неблагодарный, скажи спасибо, что мы не удрали

сразу, остались, чтобы досмотреть твои последние минуты, фото сделать и подобающий некролог написать...

— Плевать мне на ваше фото, некролог,— зарычал я зверем.

— Ты, Степушка, того и этого, начинай умирать, дерись со зверем. Ждем от тебя жертвы ради искусства,— уговаривал Юрко.

Слышу, щелкают фотоаппараты. Надо начинать. Так просто от этого зверя не уйти. Вцепился я в его глотку руками и давлю что есть силы. Зверь спросонок отвел мои руки, открыл глаза и этак мирно посмотрел на меня. Поднялся. Отряхнулся. Я тоже вскочил. Дрожу от страха. Но косолапец заурчал, как котенок, и начал шарить носом по нашим котомкам. Затем поднял с земли кружку, протянул мне, вроде просит, плесни, мол. А чего же не плеснуть. У меня есть в тайнике бутылка. Плеснул. Себя не забыл. Выпили, хотя мишка из кружки половину пролил. Налил ему в бутылку. На старые дрожжи нас сразу же и развезло. Мне говорить и говорить захотелось.

— Добрый ты зверина, черт тебя свалил на мою голову, я от страха чуть не окочурился. Но душа у тебя человечная. А ведь есть на свете такие свиньи, которые за-ради грошовой славы готовы отдать друга на съедение. Славы, ишь чего захотели? Вот сволочи. Голь перекатная. Трепачи, каких свет не видывал. Пришел в гости цивилизованный зверь, а они... Нет чтобы добыть тебя, на всякий случай вывернуть наизнанку и, пока я спал, приготовить мне шашлык. Давай стряхнем этих лиходеев с дерева и подарим человечеству хорошие фото о их последних минутах жизни. Давай?

На березе завозились. Медведь поднял голову и зарычал.

— Правильно. Рычать на них и надо. Ломать их надо. Пошли. Вот того толстого — это Юрко, вкусный должен быть. Нет, погоди, Юрко оставим. Он, брат, такую буженину умеет готовить, пальчики оближешь. Точно. Давай доктора. Он вашего брата на обратную сторону выворачивает. Стой. Доктор людям нужен. Когда-никогда мне клизму поставит. И то дело. А потом, ежли какой дурак и тебе пулю в бок всадит, доктор вытащит.

Доктор и Юрко, вижу, повеселели. Улыбаются.

— Лучше давай ломанем поэта. Их на белом свете столько завелось — хоть пруд пруди. Стихи пишут плевые. Бесполезная профессия.

Медведь с таким усердием слушал меня, что даже язык чуток высунул. Вроде понял, пошел к березе.

— Эй, эй! — закричал я.— Погоди. Давай подумаем. Поэты порой пишут ниче, особливо когда про луну. Еще по чеплашке — и решим, кого нам поломать.

Выпили.

— Друг ты мой задушевный, дай я тебя обниму. Все люди — человеки. Пусть живут поэты. Поэтов люблю, луну люблю и тебя, черта, чтобы ты исдох и не пужал людей!

Обнялись. И звери могут быть человеками не в пример другим. Мои друзья белками крутились на сучьях. Игорь и вовсе обнаглел и завопил:

— Сволочи, сами пьете, а нам хоть сдохни!

— Ах, так! Давай все же сломаем поэта? А?

Пошли к березе. Но тут же остановились: на тропе послышались шаги. Медведь потянул в себя воздух и зайцем сиганул в кусты. К нам подошел старик. Бородища до пояса, в глазах гнев, потрясая ружьем, закричал:

— Бичи! Шалопаи, ходют тут, Сережку спаивают, мед воруют, брагу выпивают. Теперича попались, субчики-голубчики! Сергей для меня роднее родного, еще какой дурак может хлопнуть за дикого. Ча мне тогда делать?

Я оторопел. Но осмелел и заговорил:

— Оно так, могут. Но я кланяюсь в ноги твоему Сереге. Он спас меня от лютой смертушки. Вот те, что сидят па березе, хотели меня живота лишить. Как твой Серега подвернулся — ума не приложу. Это, наверное, шпиены.

— Выходи, Серега, ругать не буду.

— Серега, выходи, гульнем еще,— закричал и я.

Вышел Серега. Обнял старика, а у того и дух перехватило.

— И все мне понятственно, энти разбойники у меня вчерась туес меду уволокли и ведро медовухи вылакали. Слезайте! Стряхни их, Серега, с деревца.

— Слезем, сдаемся,— завопили «разбойники». Скатились вниз, без команды подняли руки. Головы опустили. Не могут мне смотреть в глаза.

Я продолжаю начатый сказ:

— Подошел я к ним. Они тут пьянь разводят. Пригласили, а потом как скопом бросятся на меня. Хотели ограбить, а тут ваш Серега вывернулся и как рыкнет на них, они и сигнули на березу. Обиделся я на этих людей и ре-

шил чуток выпить за их счет. Серегу, значитца, их спиртом угостил. А тут вы подошли. Не подойди вы, мы бы их стряхнули с деревены и — кто знает — могли бы перебить.

— Ладно, понятственно, сведем их поначалу на пасеку, а потом уж решим, как и что. В район, видно, придется отправить.

Пасечник оказался любительский. Он завез своих пчелок с половины лета и уже собирался откочевывать, потому не знал доктора. Его ведь вся долина знает и даже больше — весь край.

— Ладно, хватит шутить! — взорвался доктор Олег.— Степан, подумай, что ты творишь, аль я тебя не лечил, аль не холил, позволял недозволенное, а ты? — начал взывать он к моей совести.

— Ишь, вот воры так воры, да я тебя знать не знаю и знать не хочу. Вот мордоворот, вот брандахлыст, вот бич, вот шаромыга... Ведем к вашей пасеке и там решим.

— Топайте по тропе,— приказал дед.— Чуток в сторону — и пальну. Видит бог — пальну!

Пасека была рядышком. Даже не пасека, а так, палаточка, машинешка для перевозки ульев, срубик для хранения меда. Вот в этот-то срубик мы и втолкнули «разбойников». Дед, по случаю такой легкой победы, решил отпраздновать ее. Соленые грибочки, рыбешка, тушеное мясо, медовуха. Сели за стол под навесом и подняли кружки. Кругом вольный воздух, ветерок залетный, и ручной медведь под ногами крутится, тоже просит выпить.

Выпили, начали вспоминать о хунхузах, бандитах, шпионах. Дед, оказывается, служил в частях особого назначения: ловил бандитов, хунхузов, разную шваль, что бродила в тайге. Заливал такое, что поверить было трудно и не верить нельзя, медовуху-то его пил. Потом, я знаю иных стариков, по их рассказам почти все они были в партизанах, чоновцах, а на поверку смотришь — был в прошлом беляк или урядник. Ну бог с ними, главное, надо врать в точку.

Потом я деду рассказал все без утайки. Вот уж хохотал старик, хохотал и приговаривал:

— Ну и весельчак! Ну и клован! Вот удружил! Своих запер в сруб. Хорошо, пусть друга не бросают в беде. Ишь, фотографии им захотелось миру показать, а вот свою трусость не хотят.

Следы
и судьбы

За окном морозная тишина. Я лежу на жестких нарах в домике пасечника Степана и смотрю, как пляшут по стенам огоньки. Они похожи на гномов, которые пришли разделить со мной одиночество. В их танце есть что-то ритуальное, вечное, бессмертное.

Хозяина нет дома. Он ушел в деревню и вернется, наверное, завтра. Впрочем, сегодня, ведь утро уже наступило. Посерела тьма в проеме окна, гаснут звезды. Бока железной печки покраснели, пышут жаром. Теперь мне не нужна старая шуба. А в камине потрескивают и потрескивают поленья, будто разговаривают, будто спешат рассказать мне последнюю сказку. Сказку про следы и судьбы, которые вершатся каждый день, каждый час, про ветры и морозы.

Пляска гномов, разговор горящих поленьев меняют мое настроение. И я решил пройти по тайге, чтобы увидеть сказку, проследить за чьими-то судьбами.

Рассвет неторопливо занимался над тайгой. Он легкий, нежно-розовый, охватил полнеба, и пел, и звенел, и слал миру чарующую музыку. И я иду в этот мир, может быть, первый раз без намерения кого-то добыть. Я просто иду, иду за сказкой.

За ночь выпало много снегу. Пока я спал, он успел завалить зимовьюшку по самые окна. Теперь она чистая и принаряженная оставалась без меня, со своим теплом, гномами, старой шубой. Я уходил в мороз, неведомо куда, окунался в таежные звуки.

Тайга — словно сказка! Ее такой сделал белый, совсем белый и пушистый снег. Он повис на ветках елей, разлапистых пихт, лег на кедровые лапы, на кустики, подбелил и без того белые березы. Одел тайгу в заячью шубу. Я подошел к елочкам. Они чем-то похожи на медичек-сестричек, взялись за руки и куда-то бегут. Сказка!

Иду, ворошу снег унтами. Он мягко оседает подо мной, почти не скрипит. С восходом солнца стало холоднее. Мороз рассерчал, затрещал, забуянил. Вот треснул ильм, упал ком снега с его крутых плеч, взвихрились серебряные

фонтанчики, осели. И пошли трещать клены, ясени, кедры, тисы, жаловаться на мороз, на долгую зиму. Сюда бы вечную весну, вечное лето.

След белки пересек мою тропу. Буду распутывать. Нет-нет, белку я не трону, ведь я пошел за сказкой. Сегодня никого не трону. Мое ружье не должно выстрелить. Оно будет молчать.

Беличий след повел меня в вершинку ключика. Над проталинами курился густой пар. И не лень кому-то в такой холодище кипятить воду в ручье? Раз вскипятили, то я напьюсь. Сделал два глотка — заломило зубы. И вовсе она не горячая — холоднущая.

Шепотливо переговаривался снег под ногами. Вокруг все мягкое и податливое, как мех соболя, белочки, колонка. Она, белочка, где-то рядом. Но кто знает, какова ее судьба? Поэма это будет или трагедия? Даже я, если захочу, могу ее судьбу сделать поэмой. Выстрел мой — это уже трагедия. Смерть. И кто знает, какой красавице доведется щеголять в той шубке? Вдыхать морозный запах тайги, который она никогда не ощущала. Да и зачем ей это? За нее бродят по тайге охотники.

Белка уже успела побывать на мохнатой елке. Дуреха. Мне даже снизу видно, что там шишек нет. Вот здесь она постояла на снегу, будто о чем-то раздумывала, и ринулась на больших прыжках в кедрач. Голод погнал. Там-то она наверняка найдет шишку. И не еловую — малюсенькую, а кедровую — здоровенную.

Вот и первый луч солнца брызнул на снег, взъерошил его хрустальными водопадами, вихрем, широко и весело промчался по сопке. Лучи пронизали все вокруг прямыми нитями. Тайга запутывала их в сугробах, закутывала в хвоистых ветвях, прятала в купах елей, за стволами деревьев, за пнями, корягами.

Вижу, как широко и добродушно улыбнулся кедр, чуть кивнул мне шишкастой кроной, будто старому знакомому, расправил могучие плечи, потянулся и запел. Запел басовито и мощно. Песню солнцу и первому ветру запел. Сотни лет он поет и не напоется. Сказка? Нет, это жизнь... Посыпалась с кедра изморозь, упала на спинку белки, та забыла ее стряхнуть, возилась с шишкой, крутила ее в лапках, снимала шелуху. Сняла и начала точить острыми зубками ядреные орехи. Смотрю я на нее, и не хочется мне, чтобы это была последняя беличья радость. В душе у меня песня, сказка. Над тайгой, над всем миром такая же сказка, та-

кая же радость, какая во мне. Как же иначе? Раз я вошел в сказку, раз я рад этой сказке, значит, должны быть ей рады и другие люди. Только так. Сказка над миром, сказка во мне.

Белка увидела меня, бросила шишку и шустро побежала в гору. Убегай. Не трону.

Продолжаю идти за ней, скоро увидел, как рядом с беличьим следом появился след колонка. Что же будет дальше?

В кедраче белка пошла верхом. Колонок тоже не отставал. Ишь ты, шустряга! Вот белка соскочила на снег, взлетела на елку, снова вниз и...

— Варнак ты! — ругаю я вслух колонка.— Такую красу загубил! Мало тебе мышей, рябчиков... Мог бы позавтракать поскромнее. Держи его! Ату!

Колонок удирал во все лопатки. Беги. Сегодня я щедр.

Вот огорченно скрипнул старый тополь. Он дуплястый, без кроны, скрученный временем и непогодой, будто жаловался на неспокойную старость. Ему бы дремать на солнышке да любоваться порослью молодых топольков. Ан нет, старику еще и за жизнь приходится бороться, слушать, как внутри скребется и шуршит гнилушками злая харза. Я вижу ее следы. Да, она жила в дупле старого тополя.

Харза услышала мои шаги, сторожко высунулась из дупла, но я вовремя замер, и она не увидела меня, успокоилась, зябко зевнула, показала острые зубы, огляделась, скатилась вниз и пошла легким поскоком по тайге в поисках добычи. Ночной снег помешал охоте. Придется наверстывать днем. Вышла на кабарожьи следы в густой ельник. Пробежала немного по следу кабарги, остановилась. Одной не осилить. А тут тропу пересек след соболя. Ухватилась она за него и пошла махать, гнать зверька распадком, хотя и знала, что бой будет кровавый. Соболь — зверек не из слабых.

— Нет, не позволю я тебе порешить такого зверька! — кричу я харзе и бегу за ней следом.— Их нам, охотникам, запрещают стрелять!

Следы харзы вывели меня на речку. Впереди залом, в котором следы затерялись. Я для верности обрезал залом. Выхода нет. Постучал палкой по накрученным половодьем деревьям. Тихо. Я хотел выстрелить, но раздумал, достал спички и поджег сушняк. Пересохший хворост вспыхнул, как порох, и верткий огонь пополз по залому. Дым потянулся во все щели. Жду. Слежу за проходами, щелями.

Легкий треск сучка заставил меня обернуться. Харза, воровато оглядываясь, уходила. Я поднял ружье, прицелился и остановил ее бег выстрелом, хотя и давал себе слово никого не трогать. Судьба! Харза ее начала, я закончил.

Соболь оказался хитрее харзы. Он прошел под снегом, затем вынырнул и вскачь умчался в горы. Убегай. Живи. Скоро вас здесь станет много. Вот тогда я тебя и добуду.

Я снова полез в гору за сказкой, за чьей-то судьбой. На взлобке одной горы наткнулся на след кабана. Он прошел по снегу, будто плугом пропахал. Я лишь кое-где увидел отпечатки его тупоносых копыт. То ли дело след изюбра — остроносый, модный, а этот... Периферия.

Кабан, как видно, был отшельник. Отбили молодые секачи его от стада. Эх и здоровенный! Пудов на двадцать будет. Такие редко стали встречаться. Не даем вырасти, выбиваем.

Чу! Впереди треснул сучок. Значит, секач стоит и сторожит каждое мое движение. Он, наверное, еще не видел меня, но уловил ноздрями мой запах. Такой кабан редко бросается от тресков и шорохов, ему даже медведь не страшен, тигр не вновинку. Но человек... Он бежит от него, знает, что тот несет, — смерть. Вижу, как поднял секач клыкастую морду и шумно потянул в себя воздух:

«Чу-ш-ш-ш...»

Мне хорошо знаком этот предостерегающий выдох. Опытные охотники, чтобы успокоить зверя, отвечают таким же звуком, и звери продолжают пастись. Но этот секач не успокоился. Он все так же настороженно стоял и смотрел в мою сторону. Сделай я малейшее движение — и он сорвется, убежит. Медленно поднимаю ружье. Зачем? Ведь я дал слово не стрелять. Но кабанище стоит больших денег. И мой напарник Степан не простит слюнтяйства. Работаем в один котел. Пусть у меня сегодня выходной день, но если ты вышел в тайгу — неси добычу. Степан спросит, что видел, в кого стрелял. И все же я не могу добыть зверя. У меня простое ружье двенадцатого калибра. Оно хорошо выручает на медвежьей охоте. Косолапых мы бьем в упор, картечью. До кабана не меньше ста шагов. Не дотянет пуля, промажу. И эти метры чутко стережет зверь, тянет носом зыбкий воздух. Все, учуял меня. Кабан громко чухнул, поднял снежные вихри, крутнулся, словно танк, разнял надвое орешник, прогремел валежником и скрылся за гривкой сопки.

Я по опыту знаю: кабан, уловив запах человека, уйдет далеко, преследовать его почти бесполезно. К тому же я шел не убивать. Я шел за сказкой, которую так долго ищу в тайге. Пусть уходит секач. Мне ведь нужна сказка. Выхожу на становичок, встаю на след изюбра. Он привел меня в густой пихтач. След совсем свежий. Вот изюбр сорвал веточку молодой осинки, пожевал, сделал короткий шаг и долго слушал тишину. Легко представить, как он долго стоял, словно изваяние, осанисто вскинув голову.

Изюбр вышел в заросли элеутерокока и начал объедать колючки. За них рукой взяться нельзя, а он их ест. Наверное, это очень надо, чтобы быть здоровым и сильным. Как замечено, зверь и траву плохую есть не станет. Он им знает цену. Взять троелистку. Незавидная болотная трава, горька — спасу нет, а копытные едят ее в великом множестве. Лечатся. Эта трава исцеляет болезни желудка. Срываю и я пучок ягод элеутерококка. Его ученые уже зачислили в братья женьшеню. Раньше эта ягода считалась ядовитой. А я вот ем. Она снимает сухость во рту, утоляет жажду.

Прошел сотню-другую шагов и вышел на лежку изюбра. Здесь зверь отдыхал. Чуткий сон у него: одно ухо спит, другое слушает тайгу. Еще бы не быть чутким! Во многих шорохах и звуках надо отличить только опасные, иначе пришлось бы ему все время бегать, шарахаться. Этак и ноги протянешь.

Короток зимний день в тайге. Но я шагал и шагал через сопки, решил проверить медвежью берлогу, чтобы сходить к ней вдвоем со Степаном. Да и след изюбриный шел в нужном мне направлении. В голове думка: добыть один на один косолапца. Ведь у меня не ружье — громобой. Слона завалит, если бить в упор. Между делом вспоминались разные случаи из моей охоты.

Как-то мы со Степаном обложили зверя. Выскочил он из дупла. Я выстрелил. Зверь свалился вниз. Похоже, готов. Степан даже ружье за спину забросил. И вдруг этот зверина вскочил — и на меня. Я едва успел выстрелить. Картечь начисто снесла череп косолапцу. Но зверь все же успел сбить меня с ног. Падая, я подвернул ногу. Шагаю, и думаю: проверить берлогу или выгнать косолапца?

Вижу, изюбр с лежки пошел прыжками. Меня испугался? Думаю, нет. Порывистый и злой ветер дул мне в лицо, раздевал тайгу, стонал в промороженных сучьях... Я увидел волчьи следы, понял, от кого убегал изюбр. Волки взяли его в клещи, погнали вниз. Бросаю ружье за

плечи и бегу по горячим следам, скатываюсь с крутой сопки, хватаюсь руками за ветки, чтобы не слететь в глубокий распадок. На снегу десятки волчьих следов. Для наших мест это большая стая. Очень большая.

Бегу, хватаю открытым ртом жгучий воздух. Бежать больше не могу,— кажется, силы на исходе. Но стоило мне увидеть серые комочки на скале (там изюбр хотел найти спасение), я снова прибавил шагу и все-таки опоздал. Книга уже была дописана. Судьба решена.

Ветер доносил до меня злое рычанье зверей. Они дрались теперь уже за кости. Пир кончался. Последние метры я ползу. Слышу, как громко стучит сердце.

Волки хорошо видны. Солнце скользнуло по тупой вершине сопки и кануло в снега. Я скоро останусь один на один с ночью, морозом, тайгой и волками. «А чем может закончиться моя книга?» — ловлю себя на трусливой мыслишке. Я гоню страх и продолжаю подкрадываться к зверям. До серых не более пятидесяти шагов. Вот матерый волк поднял лобастую голову, к чему-то прислушался и зарычал. В мою сторону смотрит. Насторожились и остальные, прекратили грызню.

Я прицелился и выстрелил. Старый разбойник тут же подавился рыком и молча бросился под гору. Стреляю еще раз, но, похоже, мажу. Вся стая устремилась за матерком. Я вскакиваю и бегу следом. Через минуту вижу крупные капли крови на снегу и от радости кричу:

— Есть один!

Внизу раздался вой, рев, грызня, затем тоскливый вскрик. Холодок страха пробрался ко мне под фуфайку и, знобя кожу, прошел по спине. Волки съели раненого волка! Гонные волки — бешеные, они все могут. Собрав все силы, бегу на сопочку, переваливаю ее и стараюсь поскорее уйти от опасных зверей.

Тайга враз перестала быть мягкой и близкой. Она смотрела на меня темными чащами, а тут еще призрачный свет луны облек ее таинственной тишиной. И ветер запутался в ее дебрях, усталый и промороженный, как и я, уснул, должно быть, где-то в распадке. Счастливый. Ему везде дом. А мне? Прикидываю, сколько топать до избушки пасечника. Много. Километров пятнадцать. В погоне за сказкой, книгой, я забыл пообедать, зашел слишком далеко в сопки. Если по ним возвращаться назад, путь сократится в два раза. Шагать ночью одному по тайге — удовольствие малоприятное.

«Двум смертям не бывать, одной — не миновать»,— усмехнулся я сам себе, снял котомку с продуктами и развел костер. У костра веселее: разогрел мерзлое мясо, поджарил на вертеле хлеб-льдышку и стал ожидать, когда вскипит чай в котелке. Между делом высушил мокрую одежду, затем жадно и долго пил чай. Когда согрелся и подкрепился, пожалел, что не взял с собой топор. Будь у меня топор, я бы соорудил нодью, наломал под бока пихтового лапника и мог бы хорошо отдохнуть. Но нет. Впервые за весь день я закурил. Крепкий чай и табак хорошо взбодрили, развеяли сонливость. Теперь можно топать дальше. Впереди пятнадцать верст да еще, пожалуй, с гаком. А гак — мерило растяжимое. Да и кто эти версты мерил?

Иду вперед и вперед. На моем пути потрескивали деревья, шептались сухой листвой дубки, зябко вздрагивали звезды. Я обернулся и поглядел на оставленный костер, убегающий от меня красной точкой в бескрайнюю тайгу.

Луна по-прежнему лила холодный и тоскливый свет на землю. А я шел и шел по хороводистым звездам, топтал лунную дорогу, шагал через четкие тени прибрежных деревьев. И мне казалось, что не будет конца и края моей дороге, морозной ночи. То ли время остановилось, или я растворился в нем? И думалось, что не я иду, а луна, тайга, звезды идут мимо меня... Идут, а я просто топчусь на месте.

Волчий вой волнами прокатился над тайгой и замер где-то на вершине хмурой сопки. Я сдернул с плеча ружье, положил его на изогнутую руку и побрел боком к стонущим звукам. Они повторялись все ближе и ближе. Я замедлил шаг и подумал: может, пойти назад? Но ведь там тоже тайга, на сотни верст тайга, ночь, мертвый свет луны, стылый снег. Вперед! Только вперед!

Я бегу навстречу судьбе и несу себя на волнах липкого страха. В руках у меня ружье, на поясе полный патронташ. Отобьюсь. Жаль, нет рядом Степана. Мне бы с ним было веселее. И все же я бегу навстречу вою. Два патрона в стволах, два — в руке. Прикидываю расстояние до пасеки. Бежать придется минут двадцать.

Почти рядом слышится рвущий морозную тишину вой. Он совсем близко.

Я обогнул скалу. Десять минут. Еще минута. Еще одна... Нет, надо идти шагом. Волки уже обошли пасеку, и мне не успеть к ней. Надо успокоить дыхание, себя взять

в рукп, чтобы стрелять точно, не мазать. Семь минут ходу до пасеки. Пустяки. Рывок — и я буду в безопасности.

Темная масса зверей выкатилась из-за излучины реки и широким аллюром стала подминать под себя лунную дорогу. Сколько их? Десять? Пятьдесят? Считать некогда. Все страхи ушли в прошлое, пришла та минута смелости, которая часто граничит с безумием. Я впервые вижу столько волков вместе. Не наши это волки. Откуда их занесло сюда? С севера пришли? И почему именно в эту ночь? Судьба?.. Она все может. Но мы посмотрпм, чем кончится эта книга и страшная сказка.

Горели волчьи глаза, мерцали, словно светлячки в летнюю ночь. Вот они остановились. Сбились с намета. Озадачены. Я с криком бросаюсь на них. Бегу и кричу. Такое и волкам, видно, пришлось увидеть впервые, чтобы добыча сама шла к ним в зубы. После заполошного бега я перешел на шаг. Прикидываю расстояние, чтобы наверняка ударить по волкам картечью. Сто. Девяносто. Семьдесят. Пятьдесят шагов. Всем телом чувствую: не выстрели сию минуту — звери разом бросятся на меня. Пока они в замешательстве, надо стрелять!

Стреляю раз, другой... Рву ночь, разрезаю ее огненными кинжалами надвое. В ответ визг, вой, рычание. Теперь я стреляю почти беспрерывно, будто у меня в руках автомат. Гильзы летят на снег. Механически вталкиваю другие, стреляю и бегу. Стреляю и бегу. Раненые волки уходят в забоку, здоровые рвут убитых. Минута — и там, где был убитый волк, курится парок.

Я поливал волков картечью, пулями, дробью. Огонь, дым, визг зверей. Рву два последних патрона из патронташа, заряжаю ружье, оборачиваюсь, чтобы еще раз ударить по бешеным волкам.

Они, поняв, что добыча ускользает, прекратили грызню, повернули в мою сторону горящие глаза и всей стаей пошли напролом. Не побежали, а пошли скрадывающим шагом, выгнув спины, чуть поджав лапы. Прицеливаюсь в середину стаи...

«Чок»,— слабым голосом проговорил правый ствол.

«Чак»,— повторил левый.

Осечка! Я дрожащей рукой нашариваю патроны, но патронташ пуст. Проклятие! Не хватает двух патронов. Двух, чтобы остаться живым. Я остановился, будто ноги примерзли к снегу. Бежать бы надо, но не могу. А волки ближе и ближе. Еще минута — и они бросятся на меня.

В последний миг я сорвался с места, на ходу бросил им рюкзак, затем швырнул шапку, фуфайку, рукавицы и... ружье.

Бежал я сохатиными прыжками. Еще минутка — и я спасен. Последние метры к зимовью чуть не оказались для меня роковыми: я споткнулся о валежину и зарылся в снег с головой. Все! Не добежал! Не дотянул! Прощай, мама!

...Глухо, будто из-за дальнего распадка, позади меня раздался выстрел, другой... Я высунул голову из-под снега и увидел над собой длинные ноги Степана, звезды, луну...

— Вот разбойники! — чертыхался Степан.— На одного прут оравой!.. Хорошо, я проснулся. Вставай...

Я поднялся, что-то попытался сказать Степану, но изо рта у меня вырывался легкий хрип и сиплые звуки.

— Пропал голос,— заметил Степан.— Было и со мной такое. Однова пужнул медведь, так я драпал верст десять и голоса на неделю лишился. Пустяки, пройдет.

В избушке, за толстыми теплыми стенами, за жбаном пенной медовухи я отошел и обрел дар речи. Великое дело — речь! Нет ей цены!

Луна заглядывала к нам в окно. Мне показалось, что она жалеет о недосмотренном конце моей книги, моей судьбы. Я показал ей кукиш: «На-кось, выкуси! Не скоро ты увидишь конец моей книги. Мы еще потопчем землю! Только так...»

Кружка медовухи вернула мне силы. Я начал шутить и высмеивать свои страхи. Степан, насупившись, сказал:

— Не моги над этим смеяться. Волки — звери мудрые. Слопали бы тебя и не поморщились...

— Ладно, не буду,— согласился я, мысленно обращаясь к луне: «Не спеши дочитать конец моей книги. Мы еще подышим. Я люблю тебя, старая. Есть у нас с тобой что-то общее. А что? Пока не могу сказать. Вот хорошо подумаю и скажу».

На стенах зимовья плясали огоньки-гномы, за окошком под ветром гудела тайга, качались звезды. Моя судьба и мой след еще не оборвались. Жизнь продолжается.

Барсушка

Ощетинились горы, как озябшая косуля шерстью, сжались от холода и спят под снегом. Поблекло солнце. Лениво скользят тучи над тайгой. Студено. По небу плывут тучи, лохматые, ленивые. Из них сыплет колючий снег. Зима. Сезон охоты...

Пришло время опасных схваток со зверьем. Душевный зуд зовет в тайгу. Только в тайгу! Но вот беда, пропала у меня собака, а без собаки... Без собаки в тайге охотиться трудно. Ни белку выследить, ни кабана придержать.

И вдруг мне повезло. Бабка Луша сказала, что дед Сидор,— а уж я-то его знал, отменный был охотник, па всю тайгу гремела о нем слава, но постарел и обезножел,— может и уступить собаку, есть у него такая. Бросаю все — и бегом к деду в соседнюю деревню.

Дед Сидор выслушал меня, хмыкнул, почесал в бороде и ответил:

— Знамо, без собаки скучновато в тайге. Она — друг человека. Можно с ней при нужде словом обмолвиться, где надо — пойдет в защиту. Словом, с собачкой веселее. Но только продать тебе Барса чтой-то рука не поднимается. Несподручно друга продавать. Не то время, когда, скажем, людей в рабство продавали аль барин барину мог отдать человека за собаку. Понимать надыть — атомный век.

Любил дед Сидор почесать язык, как все старики, с гостем душу отвести. Один жил.

— Мой отец в старину был продан барину,— рассказывал он.— Будто кобеля продали. Бывалочи, начнет рассказывать о своей житухе и продаже, ажно слеза прошибает...

Дед Сидор битый час рассказывал про своего отца, про барщину, розги. А досуг ли мне слушать его байки?

— Жаль друга продавать,— наконец перешел он к делу.— Жаль, да и только. Но если для тебя, куда ни шло. Отец твой был знатный охотник, да и ты пошел в него. Жаль. Но ты не сумлевайся — Барс пес зверовой.

— Да мне хошь бы за белкой пошел, и то ладно.

— Хе, за белкой. Ну и сказанул ты, потеха! За белкой! Да он, ежели ты хошь знать, идет на любого зверя.

— И за кабаном идет? — подпрыгнул я.

— Тхе, кабаном! Да он косолапых душит, ажно с них шерсть летит. Шурудит, спасу нету! Во кто мой Барс! А ты за белкой, кабаном. Мелочь все то. Бывалочи, поставит зверя к лесине, я подхожу, ружье косолапому суну в ухо и — бац! Барс его за гриву и почнет волтузить. То-то!

Моя рука невольно потянулась к затылку. Я любовно глянул на пса, огромного и на вид неуклюжего, который с затаенной злобой смотрел на меня. Успел в уме представить, как Барс гонит косолапого, прижимает к дереву, я подхожу и — бац! Покатился зверина.

— Сколько? — выпалил я нетерпеливо.

— Сотня,— почти шепотом ответил дед.

— Многовато, жена заворчит.

— А тебе что, с женой зверя ставить или с Барсом. Ежели ты заместо собаки жену к тому приспособишь, тогда катись. Дома, може, она и сошла бы за Барса, а вот в тайге — едва ли. Ну. — Дед протянул мне узловатую руку, похожую на еловый выворотень.

«Хапуга. Вот завернул, хоть падай»,— подумал я, но все же в карман полез.

— А может, я кота в мешке покупаю? — усомнился я.

— Я тебя не звал, сам пришел, — сердито глянул на меня дед выцветшими глазами, дернул вниз бороду.

Я поспешно выхватил деньги из кармана, отсчитал сотню и подал деду. Он послюнявил пальцы, пересчитал бумажки.

— Ну ин ладно, не в жисть бы не продал. Но уже свое отходил. Прощай, Барсушка! Прощай, мой дружище! — плаксиво заговорил дед Сидор и начал обнимать Барса.— Ты уж, это самое, не подводи нового хозяина. Работай, как, бывалочи, работал. Трудись, трудов не жалеючи. Забирай, забирай, не то распла́чусь! Уходи! Отнял друга!

Страдания деда Сидора мне были понятны. Сам однажды плакал, когда кабан убил моего Собольку. Я накинул на шею Барсу сворку и увел пса. Вначале он упрямился, но скоро смирился и пошел за мной.

О том, какие деньги я отвалил за зверового пса, тут же узнали соседи. Сбежались, и каждый свое толкует, вроде того что такому псу и тигр не страшен. Пес по всем статьям должен быть охотничьим. Глаза с живинкой, вид гордый, на голове шишкап — это уже признак ума и смело-

сти, во рту девять рубцов и один рваный. С таким, мол, псом не стыдно и па собачьей выставке показаться.

— Бывал я на выставке собак, плевые там собаки, так, больше видимости, чем дела. А этот, этот всем собакам — собака. Деньги за одну охоту вернет,— говорил сосед Прохор.

— Знамо, вернет: один медведь — и вернутся деньги в карман. Озолотишься,— поддерживали друзья.

Но жена посмотрела на пса, возьми да и ляпни:

— Последние бы штаны не оставил в тайге. Я уже не один десяток псов для своего мужа-шалопая выкормила. Тоже и шишканы были и разная разность, но удирали от медведя вместе с хозяином. Дерьмо — пе пес!

— Не каркай! — крикнул я вслед уходящей в дом жене.

Она чуть было не испортила моего праздничного настроя. Расправил я плечи, погладил пса и пошел спать, чтобы завтра со звездами выехать в тайгу. Лег, и не спится мне. Вот, думаю, парочку бы медведей подвалить? Но почему двух? Потому что пообещал одну шкуру доктору, который пользовал меня. Вторую — своему начальнику, чтобы не очень был строг со мной. Значит, двух хватит. К этим медведям неплохо бы было пару кабанов забить. Нет, лучше троих. Одного дома оставлю, а двух сдам в коопзверопромхоз. Да рысей бы пяток, чтобы шапку сшить, рукавицы, а может быть, и дошку. Не знаю, до чего бы я домечтался, если бы меня сон пе сморил.

Чуть свет я завел своего «мостодона», так я называл машину «ГАЗ-67», пеказистую, но для тайги в самый раз. Там, где охотник не пройдет, мой «мостодон» на раме проползет. Застучала, загремела моя лайбочка, поехали... Следом такой грохот, будто я волочил за собой сотню консервных банок. На сиденье Барс, которого я то взглядом ласкал, то словом.

Подлетел к желанному повороту на Синанчу, вписался в крутой поворот и понесся в край задумчивых гор. Они устали от своей старости, прогнули спины и дремлют. Тысячи времен и десятки культур пережили. Зарождались здесь эти культуры и тут же погибали, сгорали, не оставляя следа.

Я летел на машине с ветром наперегонки. Кивали мне мшистыми бородами ели, тянули лапы кедры. Холодными змейками серебрились еще не замерзшие перекаты.

И вот конец дороги. Спешно поставил машину в тупичок, слил воду из радиатора, ружье в руки и с Барсом на

своре, чтобы он раньше времени не увязался за кабаном или медведем, пошел берегом к своему другу Аксену, неизменному товарищу по охоте.

Над избушкой Аксена курился дымок. Избушка неказистая, прижалась бочком к каменистой россыпи, слушала рокот переката, косила глаз-окно на тропу, жила себе в таежной благодати. Аксен уже был готов к выходу на охоту, белковал он, здесь же по забоке были расставлены его ловушки, капканы. Увидел он меня, обрадовался, заулыбался, а когда выслушал мой рассказ о знаменитом псе и его способностях, то и совсем расцвел. Однако на Барса посмотрел с некоторым сомнением, сказал:

— Оно, может быть, Барс и добрая собака. Дед Сидор дерьмо держать не будет, но и медведь — зверь нешуточный. Помнишь, как нас гоняла медведица в Антошкином ключе?

Как такое не помнить. Выгнали мы медведицу из дупла, не свалили с первого выстрела, а лишь разъярили. Она на нас. Пес, взятый нами у Мишки Орочона, оказался плохим помощником, поджал хвост — и в кусты. А мы, будто ошалелые, носились вокруг деревьев, спасаясь от медвежьих лап. Семь раз пальнули в нее, лишь от восьмой пули околела. У меня от этой беготни подметки ичиг отвалились. Аксен потерял фуфайку и шапку. Шапку, дело ясное, смахнуло ветром, а вот как он успел фуфайку сбросить на бегу — не понять.

— Ты точно знаешь, что Барс — медвежатник? Ведь мы уже были пуганы,— сомневался Аксен.

— Точней точного. Дед Сидор врать не будет, хотя и горазд был раньше на такие чудинки. Но сейчас не должен, стар чудить-то. А потом, ты и сам видишь, что это за пес. Гля — пастища, а силища, один на один может свалить косопятого.

— Ну-ну. Тогда бросай свою котомку, и пошли. След видел в Медвежьем ключе. Должны к вечеру догнать мохнача.

Я перебрал в рюкзаке, лишнее бросил на стол, рассовал по полкам, и мы пошли тропить медведя.

Барс трусил сбоку. Вышли на след медведя, пес обнюхал отпечатки лап на снегу, презрительно поднял ногу. Аксен поверил в Барса, широко улыбнулся:

— Считай, печенка медведя у тебя в котомке.

— Но прежде чем такое случится, ты бы, на всякий случай, подвязал тесемочкой очки.

— Не учи,— буркнул в ответ Аксен.

— А помнишь, как ты кабана упустил из-под носа, потому что очки свалились?

— Тогда мы были без собаки, а сейчас вона какой псина. Надея полная.

След медведя повел нас в непролазные чащи, берложные завалы из сухостойника. Каждый шаг давался с трудом, ноги путались в лианах лимонника, сухие сучья елей цеплялись за штаны, переползали через валежины.

Здесь дневали изюбры. Мы не раз слышали, как они с легким поскоком убегали от нас. Бесшумными тенями исчезали кабарожки. Но наш верный Барс на этих зверей и ухом не повел, только шумно вдыхал таежный морозный воздух и трусил и трусил чуть впереди нас. Аксен сиял, как начищенный котелок. Ударился в рассуждения:

— Собаку по крупному зверю я за версту узна́ю. Такая собака, уж коли взяла след, зряшно мотаться не будет. Изюбры для нее сейчас — мелочь. Это простая дворняга, та готова гавкать на заячий след, след медведя бросит.— Тут Аксен вздрогнул, взял меня за рукав и прошептал: «Медведь!»

— Нет, выворотень.

— Ты глянь на Барса, крадется. Готовь ружье!

Барс, пружиня на лапах, крался к выворотню. Мы затаили дыхание. Ружья наготове. Пес потянулся, шумно обнюхал выворотень, снова поднял ногу и затрусил после всего дальше.

— Осечка. Бывает, что и собака обознается. Бывает,— хвалил пса Аксен.

За день мы зверя не догнали. Медведь дважды принимался рыть берлогу, но по непонятным причинам бросал.

— Бурый! Ишь какой след! Мой ичиг свободно вмещается.

— Знамо, гималайский рыть берлогу не будет, дупло найдет. Там сухо и не дует.

На ночь соорудили нодью, улеглись спать под звездами. Холодновато. Ежимся, жмемся к костру. Аксен пристал ко мне:

— Продай Барса. Сам знаешь, как трудно без собаки в тайге.

— Не могу, Аксен. Собака — друг человека. Я как без рук, когда рядом нет помощника. Маета, а не охота. Подранка не догонишь.

— А разве я не маюсь? Не хочешь продать, тогда хоть оставь Барса на время.

— Ты бы оставил?

— Какой разговор.

— А помнишь, когда ты приболел, у тебя на цепи сидел Полкан. Я уходил на охоту с другом, и ты не дал. Что ты сказал?

— Ну, сказал. Подумаешь, с языка сорвалось.

— Ты сказал: ружье, собаку и жену я никому не доверяю. Так?

— Пусть так.

— Ладно, я не такой жадюга, как у твоего отца дети, так и быть — оставлю Барса. Жену с собакой не буду сравнивать. Мужик ты надежный. Но если что... Пеняй на себя! За Барса голову снесу! — пригрозил я на всякий случай.

— Вот это по-братски! Вот это по-дружески! Век не забуду твоей доброты. За Барса не сумлевайся, сам костьми лягу, но его уберегу,— суетился Аксен, подшевеливая бревна.

Ночь прокрутились у нодьи. А чуть свет пошли снова по следу. Уж такова планида охотников. Скоро медведь начал петлять по северяку, искал подходящее место для берлоги, а может, старую пытался найти, да запамятовал, где она.

— Вот привередливый зверь, со вкусом ищет фатеру, взлобок посуше, чтобыть воспаление легких не схватить,— ворчал Аксен.

...На снегу мы увидели свежеизрытую землю. Будто геологи канаву заложили. Барс припал на передние лапы, затаился. Мелкая дрожь прошла по его телу. Не поймем, то ли трусит он, то ли от возбуждения перед боем его лихорадит.

Скрипнула валежина, треснул сук. Как по команде, мы повернули головы на шум и замерли. К нам на задних лапах шел медведь. Шел и нес в охапке сухие листья. Это он постель себе готовил, чтобы бокам было мягко и не сыро. Я вскинул ружье, поймал на мушку голову зверя, но в этот миг, когда я должен был нажать на спуск, мне под ноги бросился Барс. Выстрел. Медведь выронил листву, она, подхваченная ветерком, закружилась в воздухе. Зверь заревел. Затряс раненой лапой. Выстрелил и Аксен, но впопыхах промахнулся. Второй патрон у меня дал осечку. Я заорал:

— Барс, куси! Ату! Взять! — поспешно толкал патрон в ствол. Но патрон оказался дутый, не входил. Бросил на снег плохой патрон, вырвал другой, втолкнул. Но... Барс снова бросился мне под ноги, сбил с ног. Я упал за валежину, Барс оседлал меня и залился трусливым лаем. Выстрелил Аксен и еще раз мазанул. Я видел, как он кинулся за дерево, запнулся и упал. Я только успел подумать: «Пропали!» Аксен потерял очки. Теперь уже не помощник. Я не могу сбросить с себя Барса. Сбросил. Начал отбиваться от него ногами и руками. Барс заливался трусливым лаем, но на медведя не шел. Медведь стоял на задних лапах в десяти шагах и ревел что есть мочи. Ружье мое зарылось в снег, не могу найти. Медведь двинулся на нас. Аксен ползает на четвереньках и ищет очки, я тоже шарюсь руками в снегу.

Наконец ружье у меня в руках. Аксен нашел очки и трясущимися руками водрузил их на нос.

Барс снова бросился мне под ноги, но я прикладом отбил его нападение. Не знал, от кого и спасаться — то ли от пса, то ли от наседающего зверя. Но все свершилось в одну секунду — медведь рыкнул и на трех лапах бросился на сопку. Я даже выстрелить вслед не успел.

— Ну, слава богу, ушел! — выдохнул Аксен.

— Проклятущая собачка! Убить мало, на куски изрезать! — замахнулся я на Барса, но кобель, чуть поскуливая, радостно повиливал хвостом.

Аксен сел на валежину и сказал:

— Сколько я раз зарекался не ходить на охоту со случайными собаками и снова едва живота не лишился.

— А кто их для тебя проверять будет? — заорал я на Аксена.— Подай ему проверенную! Стрелять надо было метче! Хошь знать, так это Барс своим лаем спас нас. Мазила. К тому же Барс, может, идет только за гималайскими медведями. Вот найдем белогрудку и там узнаем до конца его способности.

— Ослобони, хватит с меня и бурого,— устало махнул рукой Аксен.— Будь на месте бурого белогрудый — наши души давно бы были в раю.

— Трусишь? Я так и знал. Трусом ты отродясь был, таким же трусом и окочуришься,— орал я на Аксена.

— Не ори! Иди на черного, тот позлее будет этого, быстро штаны починит. Нашел пса — вахлака! Где это видано, чтобы хозяина с ног сшибать? Когда я увидел такое, то у меня руки затряслись, вот и мазал. А тут еще очки...

— Говорил я тебе, привяжи их покрепче. Не послушал!

— Не послушал. Знай я, что пес этот трусливее зайца, рази бы... — не договорил Аксен, сел на пень и начал закуривать.

— Молчи, я тоже не пророк. Гони деньги и забирай пса. Могу даже десятку сбросить.

Аксен ошалело посмотрел на меня и тихо сказал:

— Знаешь, я раздумал. Расхотелось мне такого красавчика покупать. Еще какой дурак украдет, а ить собака — друг человека. Твой друг.

— Ну хошь возьми на время, может, он осмелеет. А?

— Нет, и на время не надо. Собака денег стоит. Не обессудь...

Осмотрели мы след раненого зверя, решили, что не надо его пока трогать, сам кровью изойдет.

— Завтра мы его подберем. Пошли в зимовье. Надо отдохнуть и душой помягчеть.

— Пошли.

Идем мы этак и незлобиво подтруниваем над собой. Барса клянем. Деду Сидору немало недобрых слов отвалили.

И вдруг почти из-под ног выскочил самец-кабарга. Гон у них был, в это время они забывают об осторожности. Аксен вскинул ружье, грохнул выстрел, самец сунулся в снег.

Я попытался направить пса на раненого зверя. Барс было бросился на кабаргу, но та поднялась, сделала пару шагов и рухнула на пса. Пес взвизгнул, метнулся в сторону, ударился головой о кедр и заскулил...

Через минуту Барс кубарем покатился под сопку и такого задал стрекача, только снег завихрился.

— Убежала твоя сотенка рубликов. Лови! — раскатисто захохотал Аксен.

На зимовье Барса не оказалось. По следу было видно, что он пробежал его мимо. Да, сто рублей плакали. Прав Аксен. Но на душе стало легче. Избавился от опасного друга.

После двухнедельной охоты я заехал к деду Сидору. Дед еще больше обрадовался моему приходу. Огладил бороду, усмехнулся одними глазами и спросил:

— Как наш Барс?

— А как ты думаешь?

— Думаю, что настала пора возвернуть деньги-то. Спа-

сибо, что избавил от пса-труса. У самого руки не поднимались его ухайдакать, собака никчемная, зря хлеб ела. Спасибо, выручил.

— Друг, значит,— зашипел я.— Я из-за твоего друга чуть в лапы медведю не попал. Сдох твой Барс от страха. Вот так.

— Точно так, должон был сдохнуть. Он ить от крысы за три сопки бежал, а тут медведь. Ну ежели все обошлось, то за это и выпить не грех,— говорил дед Сидор, посмеиваясь прищуренными глазами.— Да ты в другой раз байки людей не слушай. Для смеху тебя разыграли мы с бабой Лушей. Но это все мелочь, так вот, бывает, ради смеха и человека оговорят. Что и вор-то он, что и сволочь, а на деле — просто, как все, человек.

Дед Сидор достал из шкафчика початую бутылку водки, налил себе и мне в мутные стаканы, проговорил:

— Давай для сугреву. Мир праху Барса!

Сидор поднес к бородатому рту стакан, сделал глоток, но в эту секунду раздался за дверьми жалобный скулеж.

— Он! Ей-бо, он! — откашлялся дед Сидор, утер бороду и, открыв дверь, запричитал: — Барсушка, заходи, милай! Заходи! Во ишь, как нашел дом, две недели блукал, а нашел. Заходи, дорогой!..

Росы

Машина петляла по таежной трассе. Шла через ночь, горы. Брела через речки. Выползала на перевалы — к звездам.

В дороге всегда хорошо думается. Возвращается прошлое. Мечтается о будущем. Мне тогда вспомнился дед Исай. Давно я его не видел. Это добрый и мудрый старик. Вот приеду, обязательно забегу к нему. Сейчас я его вопросов не боюсь. А вот в молодости, бывало, завижу деда Исая и — шасть в сторону. Боялся я его вопросов, на которые редко отвечал правильно. А если не отвечал, то дед Исай бросал: «Ча ты понимашь, щанок, катись отселева. Ни мудрости в тебе, ни ума. Поживешь с мое, могет быть, и станешь человеком. А счас — щанок, знамо дело — щанок». Уходил прочь. Хотя бы такой вопрос: «А что самое чистое на земле? А? Ответствуй!» Я задумался тогда, хотя и понятия не имел, что может быть самым чистым на земле. Любовь, дружба, небо, земля. Не знал я, что есть самое чистое на земле. «Не знаешь? Х-ха-ха! Щанок! Так слухай, самое чистое на земле — это росы, росы, сынок! Их нам бог ночами шлет на землю, чтобыть земля утром умылась. Через те росы и люди научились умываться по утрам, чтобыть днем добро и мудрость людскую лучше видеть. Неумытые глаза худо видяг. Внял. Щанок!»

Вопросы деда Исая были похожи на загадки.

«А что есть земля? Ха-ха-ха! Не знаешь, щанок? Да откель тебе знать, не дорос до энтого познания. Так внемли: земля — энто наш корабель, а мы ее кормчие, как будем обруливать, так она и будет бежать по небеси. Ха-ха! А кто самый добрый на земле?»

На этот вопрос я отвечал смело. «Человек — вот кто!»

«Знамо, человек. Но только какой? Ребенок — самый добрый на земле человек. Глаза у него добрые, думы добрые,— знать, и душа добрая. Во как! В нем лежит вся истина истин. Внял? Я все приметил, все познал. А что есть реки? Тоже не знашь? Реки, сынок,— это кровя земные. Без них всему сущему на земле — погибель. Поелику

мы будем их хранить, постольку и жить. Без кровей человек — не человек, без рек земля — не земля».

Дед Исай, довольный собой, похохатывая, шел дальше, чтобы еще кому-то задать «вопросик», как он говорил, или посидеть на берегу реки, подметить что-нибудь мудрое, нужное, чем жива земля.

Однажды он задал мне вопрос о волках, как, мол, ты понимаешь, злой ли это зверь?

«Конечно, злой. Он съел Красную Шапочку».

«Это кто же такая будет?» — притворился незнающим дед Исай.

Я рассказал деду Исаю сказку о Красной Шапочке. Он, склонив голову, задумался. «Да-а-а-а! Вот ить как бывает, съел — и баста. Нет, сынок, то все байки. Не верь. Дитя дажить самая злющая собака не трогает. Старый пес щанка не укусит. Малых все звери любят. У меня на то есть историйка. Послухай. Дело-то было так, семи мне не стукнуло, забрел я в тайгу и заблудился. Навстречу волчина. Шасть ко мне! Я бежать. Он в два прыжка догнал меня и пымал за рубашонку. Я заревел, стал просить волка, чтобыть он меня отпустил. Ревел:

«Не ешь меня! Не ешь!» — «Для ча я буду тебя есть-то? — заговорил он человечьим голосом.— Ты ить ребенок. Детишек у нас в роду никто не едал». — «Но люди сказывают, что ты съел Красную Шапочку?» — «Врут люди. Не ел я Красную Шапочку. Не трогал я махонькую девочку. Она ведь была добренькой, к бабушке бежала. Больших людей мы порой съедаем, потому как они у нас, зверей, все отбирают, голодом оставляют. Житья нету. Пошли к нам в логово, есть, поди, хочешь. Напьешься волчьего молока, поешь мяса и станешь еще добрей».— «Пошли»,— смело согласился я. Пришли мы в логово волков. Обрадовались волчата, затеяли со мной игру в салки. Но волчица рыкнула на них и сказала:

— Поначалу надыть накормить, а уж потом играться. Пей из меня молоко!

Я напился волчьего молока. Волк и скажи мне:

— Оставайся у нас, человечек, будь нам защитником. Оставайся, ваш мир стал злым и тесным. У нас все чище. Живем по древним законам, и никто никого не обманывает. Люди убивают нас и хотят, чтобыть мы были к ним добры. Не трогали овец, коров. Мы на зло отвечаем злом. Живи у нас, и ты поймешь всю тайну жития. Нас и людей поймешь. Остаешься?

— Но вы убиваете козочек, зайчишек. Разве это честно?

— Очень честно. На то и волк живет в лесу, чтобыть заяц не дремал. Вы тоже убиваете зверей, скот и мясо едите. Но мы вас не обвиняем. Зайцы растут для нас. Мы никогда не убиваем всех косуль. Ведь нам и завтра надо будет есть. Мы все это берем в честном поединке. Здорового изюбра нам не догнать. Больной — помеха в тайге. Другие могут от него заболеть. Здоровый даст здоровое племя. Больной — хилое... Оставайся.

— Нет, волк, я человек, и буду жить среди людей. У вас своя стая, у людей своя.

— Будет так. Я провожу тебя к вашим человекам. Но ты постарайся остаться на всю жизнь добрым ребенком. Если не сможешь такое сделать, то приходи к нам, так и быть, мы тебя съедим. Зачем плохому человеку толкаться на земле?

— Но, Мудрый Волк, как я узнаю, плох я или хорош?

— Ты прав, узнать себя, каков ты, трудно. Может быть, люди тебе подскажут. А злым сказкам не верь. Красную Шапочку мы не убивали.

— Прощай, маленький человек! Приходи к нам играть! — кричали мне следом волчата.

— Вот и все, — сказал дед, — теперича думай над энтим, а мне бежать надо. Недосуг. Прощевай не то...

Так и сочинил дед сказку о мудром волке, оставил меня одного на берегу думать над рассказанным.

— Ты, корреспондент, не спишь? — спросил меня шофер Пронин.

— Нет, думаю. Помнишь сказку, как волк съел Красную Шапочку? Так не съел он ее. Съели Красную Шапочку мы с тобой.

— Ладно сказано. Добро мы съели. Верно. Вы ездили в партию геологов, чтобы во всем разобраться и наказать виновного. Воскресить Красную Шапочку. Разобрались, что повариха кормила рабочих дохлятиной, хорошее же мясо с любовниками съедала. Что ей будет?

— Не знаю. Напишу фельетон, может быть, что и будет, накажут.

— Никто ее не накажет. Ее будут воспитывать, даже уговаривать, чтобы не бросала этой работы. Начальнику нашему припишут, что плохо поставлена воспитательная работа в геологической партии. На этом и сядем.

— Но я буду требовать, чтобы ее наказали!

— Ха, требовать. Вам скажут: идите вместо этой пова-

рихи в нашу партию. Вы ради этого неделю мотались по тайге, мерзли. Все напрасно.

— Я не пойму твой настрой, Вася?

— А чего тут понимать. Начальник добряк, парторг еще добрее. С этого и началось.

— Да, добрым надо быть, но нельзя быть добреньким! Убив зло, мы сеем добро!

— На словах так, а вот на деле — все иначе. На нас тоже клевещут, что мы и пьяницы, и шаромыги. Не без того. Есть воры и подлецы среди нас. Но всех под одну гребенку — извиняюсь. Ладно, поспите.

Замолчали. Свет фар метался на ухабах, скользил по тайге. Вот лучи фар вырвали огромный завал леса. Здесь проводили трассу геологи. Обычное дело. Все у нас так проводят таежные трассы: по целику, не вырубая деревья.

— Хозяина нет этой земле. Тысячи кубов леса лежит на обочине, а наши геологи сидят без дров. На уровне райкома решался этот вопрос. Смехота, и только. Двух-трех пильщиков, пяток машин — и дровами можно завалить все Кавалерово. Вот вам и Красная Шапочка. А мы заседаем, пишем протоколы.

— Почему нет. Ты хозяин.

— Я хозяин? Ха-ха! В душе-то я хозяин, а как дела коснется, из этого хозяина весь дух выходит, как воздух из проколотой камеры. Я бы ту повариху...

— Что бы ты с ней сделал?

— Заголил бы юбчонку и выпорол на людях. Другой бы раз подумала, что и как. Эх вы, корреспонденты. Мало вы пишете об этом.

— Пишем, даже очень много пишем. На эту писанину ушло бумаги в сто раз больше, чем в этих завалах леса. Но толку пока мало.

— А будет толк-то?

— Обязательно будет.

«Газик» сделал крутой поворот. И тут почти под колеса прыгнул с обрыва изюбр. Пронин резко затормозил и уперся бампером в ноги зверю. Зверь, ослепленный ярким светом, не шелохнулся. Пронин выключил свет, открыл дверцу кабины и закричал:

— А ну шуруй отсюда! Брысь с дороги, шалопай! Носит тебя!

Изюбр прыгнул под кручу, прогремел чащей и растаял в глухом распадке.

Я молчал. Пронин завел мотор. «Газик» побежал дальше. Теплая ночь по-прежнему нежилась среди сопок.

— Ну что молчишь, корреспондент? Ругай или хвали. Ведь вы любите из мухи слона лепить. Напиши, как я самоотверженно остановил машину, чуть не сорвался в обрыв, но зверя не задавил. Пиши, пиши, какой я хороший, добрый, душевный...

— А зачем об этом писать? Так должен делать каждый. Просто и человечно.

— Хе, просто и человечно. Я имел право сбить зверя. Вершок в сторону — и мы кувыркались бы под обрыв. Всяк бы меня оправдал. Но дело не в этом. Не в этом дело, корреспондент. Я хочу быть человеком. Человеком без грязи и мрази. Сиди на твоем месте мой начальник, он бы мне сотню матюжин загнул, и все за то, что я упустил зверя. Я однажды на трассе объехал ослепленную косулю, так мой начальничек неделю грыз меня. Выходит, дело не в образованности, а в душевности? Так?

— Ты хочешь мне преподать урок всеобщей любви, философию души пояснить? Без тебя это на сто рядов уже сделано.

— А вот и хочу. Хочу! Может, я в этих философиях ни черта не разбираюсь, но в душевности — да! В душевности, корреспондент! В ней наша сила. В ней наша Красная Шапочка!

— Не кричи, оглушишь. Говори, что у тебя там накопилось?

— Много, корреспондент. Очень много! Раньше, когда я гонял тяжеловесы, там все было проще, а после аварии пересел на эту «дуньку», вожу начальство, много накипело. Отмыть бы чем-то, а вот чем — не знаю? Дошел я своей бестолковой, что человек заглавен не в должности, а в душевности.

— Не знал ли ты деда Исая?

— Как не знал, даже очень знал. В чем есть сила человека? Это его вопрос. В душевности. Только в ней. В ту пору я его вопросы принимал как иронию, а сейчас принял как должное. Хороший был человек. Побольше бы таких на наш корабль.

— Ну, тогда выкладывай. Дед Исай наш учитель. Только почему он тебе не рассказал про Мудрого Волка?

— Не успел, наверное, а может, я ему не показался. Ты вот стал корреспондентом, а был, как я, шофером. Нуж-

ны корреспонденты и шоферы, но нужны ли на этой земле сволочи?

— А ты вспомни деда Исая, что он говорил, что, мол, любой человек, даже творя зло, считает себя правым, подлец остается подлецом, дурак — дураком. Но до тех пор, пока душой не познает, что он не тот, за кого все время себя выдавал. А если и познает душой, то в этом никому не признается. Останется самим собой. Ведь только в книгах подонок вдруг делается человеком. Перевоспитали. Буза все это, Вася. Буза. Психологию подлеца тысячи воспитателей не выправят. Читал я твои статьи о защите зверей, слеза прошибает. Так и видится во всем дед Исай. Но что же дальше? Ведь все остается, как было.

— Если после моей статьи хоть пять человек начнут думать, то знай, что я свой долг выполнил.

Пронин приумолк, задумался. Утробно урчал мотор «газика» на подъемах, затем на спусках его рык переходил почти на шепот, галька шуршала под колесами.

— Люблю ездить ночью, — вздохнул Пронин. — Будто плывешь среди звезд, топчешь их колесами, туманы будишь.

— Стихи пишешь, наверное?

— Нет, не пишу. Просто от красоты таежной такие слова вырываются. Представь, что на нас сейчас косит свои глазищи тигр, изюбр стоит за кустом — и знают, что мимо них едут друзья. Это же здорово! Можем же мы быть им друзьями? А?

— Должны быть, но...

— Вот это-то «но» и мешает нам жить хорошо. Звери. Слово вроде резкое, злое. Но разве может быть косуля зверем? Что она нам сделала зверского? А? Ест траву, живет в страхе. Волки — звери, но звери ли? Ведь их такими сделала природа. Они нужны на Земле, если их сделала природа. М-да...

Снова долго молчим, каждый занят своими мыслями.

— Ты помнишь заместителя начальника милиции Булгакова? — спросил меня Пронин.

— Как не помнить? Он еще у меня права отбирал, потом отдал. Хороший был человек. Выгнали зря.

— Сволочь он, а не человек. Хоть ты и корреспондент, хоть ты и нашей жилки парень, но не понял ты Булгакова. Подлюга он.

— Вот видишь, как выходит. Для меня он был чело-

веком, ты его называешь сволочью. С чего бы это? Получается, что и нет на земле настоящих людей?

— Может быть, так и получается. Помнишь, в пятьдесят восьмом был в тайге настище?

Памятный был год. Циклон, обрушившись на тайгу, завалил ее по уши снегом. Весной случился наст, который поверг всех в беспокойство. Были выставлены посты из милиции, егерей...

— Вызвал меня начальник и приказал в полночь ехать с Булгаковым. Наше дело шоферское: отъедь, подъедь, выедь. Поехали. Булгаков рядом со мной, сзади два охотника с собаками. На постах Булгаков давал наставления, и мы катили дальше. Свернули в Синанчу. Все молча, тихо. Только собаки хакали и изредка рычали друг на друга. «Вороти влево, стой! — приказал Булгаков.— Постоим, осмотримся и начнем».— «Не влипнуть ба»,— трусил Никола Дубов. «С нами крестная сила»,— нервно похохатывал Булгаков. Светало. Охотники начали прилаживать лыжи. А скоро пустили и собак. Те сразу рванули с места и ушли в сопку.

И вот раздался лай, звонкий, торжествующий. Закричала косуля. Следом вторая. И кричали они, как люди, когда их кто-то душит. Смерть шальная, смерть негаданная. Звали на помощь, но кого? Нас, что ли? Крики оборвались визгом, и стало тихо. Мне стало страшно. Страшно оттого, что косули оказались в бессилии против зла. Ведь так бывает и с людьми. Так было со мной.

Пронин помолчал и добавил:

— Парнем я был. Избили меня трое дружков. Я в милицию, а мне в ответ: «Найди свидетелей, тогда мы бандюг припрем к стенке!» Метался я зверем от своего бессилия. Потом начал ловить тех парней и избивать по одному. Избивал от души. Потом их поймали на одном деле. Нашлись свидетели. И суд. По два года оттяпали. Бессилие — дело страшное. Чуешь душой, что ты прав, а доказать не можешь. Помнишь вопрос деда Исая: «А что есть неправота? Это болесть душевная, от которой волком выть хочется». Вот и тогда, что я мог сделать, кроме как выматериться. Но меня оборвал Булгаков: «Заткнись! Что, послесарить захотелось? Это я быстро сделаю!» Тут же приказал: «Дубов и ты, Пронин, соберите собак — и в сопки. Две косули на четверых, пустяк. Марш!..» Давай, корреспондент, постоим у ключа, покурим. Нудится что-то душа.

Мы остановили машину на берегу бурливого Имана

и присели. Я видел при вспышках папиросы смуглое лицо Пронина. Оно было злым и задумчивым.

— Вы, корреспонденты, вроде уборщиков,— рассудил Пронин,— грязь на земле выметаете. Это хорошо. Кому-то надо и в грязи копаться. М-да. Через версту пустили мы собак. Уже совсем рассвело. Проснулись дятлы и пичуги, гомон в тайге. Весна для всех в радость. А вот копытным зверям — смерть. Собаки снова рванулись в сопки. Лай, визг, рев и стон. Прямо на нас летел изюбр. Влетел в распадок и зарылся по шею в снег. Булгаков выстрелом в упор убил его. Жутко было смотреть на такое. Таким же манером спустили с сопки к нам собаки и изюбриху. Она почти добежала до нас, упала в ноги, заревела, будто просила защиты. Ноги, грудь ее были залиты кровью. Собаки насели на изюбриху, рвут. Никола выстрелил, но промахнулся. А изюбриха ползла по снегу и тыкалась мордой в мои ноги. Тыкается и кричит. А у меня в руках только палка. Я закричал, начал молотить палкой собак. Никола заорал на меня и вторым выстрелом оборвал муки зверя. Еще и похвалился: «Ладно мы сегодня мяска навалили!» А какое там мясо. Худоба, а не мясо.

Потом взошло солнце, потом мы ехали домой, потом я был будто во хмелю, троились люди, двоилась дорога. С трудом развез охотников и мясо, свой пай выбросил во дворе Булгакова. Он на это только усмехнулся и смолчал. Котомку с мясом занес домой. Дома я рассказал все жене, она обругала меня дураком, мол, все жрут, а чего же нам не поесть дармового мяса...

Мы посидели еще несколько минут, послушали ровный гул тайги, рокот речки. Пронин поднялся и тихо сказал:

— Поехали.

Я задумался над рассказами Пронина. Сколько в нем доброты человеческой! А за эту доброту надо платить душевной болью. Ясно, что он пытается заглянуть в чьи-то души, но пока еще не может осмыслить, для чего. Для чего он все это делает? Что ему, больше других надо? Или он хочет сделать переворот в душах людских?

— Знаешь, корреспондент, ведь я многое знаю о тебе, ты весь на виду. Человек ты нашенский, потому и рассказываю, как своему, без утайки. Душу свою наизнанку выворачиваю. Плачусь, как бывшему шоферу. Рады за тебя наши ребята, надеются, что при случае заступишься. Но если один, если без подпоры, то и ты только свою душу намнешь, а толку не будет.

Машина поползла на подъем. Капот торчал перед глазами. Выползла и покатилась вниз. Пронин долго молчал. Дымил папироской. Заговорил:

— Послали меня в прошлом году отвезти в воинскую часть комсомолят. Встреча там у них должна была быть с моряками. Повез. Время наста. Это еще до твоей статьи о насте. Машина ходко бежала по холодку. Трасса теперь в Ольгу хорошая. Гоню свою «дуньку» в сторону рассвета. Шибко гоню. Выехали мы к Серафимовским полям, дорога ровная, я и поджал под девяносто. Уже и солнце выползло из-за сопок. Глянул влево, а там косуля пурхалась па снегу. К ней на всем маху скакали два волка. Тормознул так, что «газик» мой чуть не развернуло назад. Хорошо снегу было больше метра. Уперся бампером в бровку. Косуля — к машине. Припала боком к теплому радиатору и стоит. За сотню шагов от нас встали и волки. Смотрят на машину. Я сказал: «Пришла к нам за защитой. Давайте, ребята, отвезем косульку к морю, там наста нет». Мои ребята один за другим выскочили из машины. К косуле. Она тычется мордашкой в их теплые руки, фыркает, но не уходит. Понимает, что ей уходить не резон, волки сзади. Доверилась. Глаза у нее большущие, добрые. Я повернулся к волкам. Схватил монтировку, выбежал на бровку из снега и закричал на волков: гады, мол, уходите! Цыц! И разное. Оглянулся назад, потому что услышал тупой удар. Виталий бил косулю ключом гаечным по голове. Косуля закричала тонко и протяжно. Вырвалась — и в снег. Виталька вильнул бабьим задом — и за ней. Косуля влетела в снег. Виталька и Борька схватили ее за задние ноги и сдернули на дорогу. Я спрыгнул вниз и разбросал ребят, как кутят. Но было уже поздно спасать зверька. Косуля начала оседать, ловить ртом воздух, забилась и упала на бок. Волки постояли еще с минуту у леска и затрусили по насту в сопки.

Окружили меня парни и вот-вот дадут мялку. Орут, руками машут, но я спокойно им сказал: «Тронете, вас за косулей всех и отправлю!» Притихли. Стоим и молчим. Первым заговорил Борька-очкарик: «Хватит, ребята, из-за паршивой косули дружбу терять. Погорячились, и ладно. Кто не ошибается, кто не шалит».— «Верно,— согласился Николай.— Не убили бы мы, убили бы волки. Не забирать же ее домой, одна морока. Мало того, так мы еще можем приписать тебе же браконьерство, что, мол, нарочно задавил. Нас трое, а ты один».— «Я первый об этом ска-

жу,— зло просипел Виталька.— И даже за удар могу написать в милицию».

— Веришь, товарищ корреспондент,— вдруг перешел на официальный тон Пронин,— задохнулся я от обиды, в глазах туман, в голове звон, готов бы всех их разорвать на части. Но у меня была уже за плечами наука: один в поле не воин. Все припишут мне, и баста. Им вера. Бросили они убитую косулю в багажник, я сел за руль и погнал дальше. Но так гнал, что мои перевертыши не раз делались белее снега. Дважды чуть не сбросил под обрыв. Потом немного отошел и повел машину тише. Вечером напился. Не поехал домой в ночь, хотя мне и приказывал Виталька. Косулю они с моряками съели. Приехали назад, все думали, что я пойду куда-то жаловаться, но я не пошел. Хватит. Жизнь — это наука. Ославят, в душу наплюют. Затаился, как крот в норе. Заставил сердце замолчать. Сделал его слепым.

Пронин еще ниже склонился к рулю, будто бодал большой головой кривулястую дорогу. На лучи фар выскочил заяц и запетлял, заметался, чтобы вырваться из полосы ослепительного света. Пронин на секунду выключил свет, косой прыгнул в сторону.

— Петляем по жизни, мечемся, чего-то боимся, а почему, а зачем? Нету деда Исая. Он бы ответил, почему и зачем. Мудрый был старик. Может, ты ответишь, корреспондент? Почему люди делятся на волков и зайцев?

— Смотря как все это понимать? По философии деда Исая — волки мудрее людей. Волки добрее людей.

— Будем понимать так, как пишут о волках. Заяц вот петлял по дороге, трусил прыгнуть в сторону, потому что там была тьма, ее ведь он боялся. Неизвестности боялся. Подвоха и подлости.

— Эх, Вася, в одном ты не прав, что хочешь в одиночку мир перевернуть. Заяц и человек. Есть среди нас зайцы, много их. Столько же и волков. И ты хочешь враз тех и других сделать иными? Не сделаешь. В таких делах одних эмоций мало. Нужны доказательства. Вот я верю тебе, что ту косулю убили ребята, а не ты. Вот по сегодняшней ночи верю. Ну и что? Что с того, что я верю. Другие могут тебе не верить. И зайцы, и волки, и люди,— что ты такой, а не иной. Ты не трус, но ты прешь в своей доброте прямо, ломишься в закрытую дверь. Тебя избили, ты мстил в одиночку.

— В одиночку, говоришь? А разве ты не со мной?

— С тобой.

— Значит, нас двое. Но в сказанном ты прав. Вот так, в одиночку. Я в тот же год отхватил пятнадцать суток за мордобой. Могли бы дать больше, но бил за дело. Скостили.

— Это как же произошло?

— Очень даже просто. Не успел я от болезни отойти, как нарвался на новую. Душевности одного подлеца обучать вздумал. Помнишь Кудрявинцева, ну того, что был в плену, чуть не сгорел в топках Бухенвальда.

— Мой брат Федя там сгорел. Ну, продолжай.

— Так вот я его слушал в Доме культуры, и волосы у меня дыбом вставали. Бабы плакали. Ужас, что творилось в клубе.

— Слушал и я. Сильно рассказывал. До утра после его воспоминаний не мог уснуть.

— Так-то. Плакал и я. Но теперь скажи, откуда у такого человека жестокость? Вот он рассказывал, как рвали его собаки, как они загнали его на дерево. В пятый побег он, спасаясь от фашистов, забежал к немецкому крестьянину в сарай. Тот его пожалел, подсказал, как бежать дальше. Значит, у того немца была в сердце доброта. Не вытравили из него человечность. Даже кусок хлеба дал. Может, через тот кусок хлеба и сумел Кудрявинцев убежать?

— Не понимаю, о чем ты?

— Поймешь. — Пронин снова закурил.— Хотел бы я знать, что сказал бы мой Сашка, узнай, что я такое подлое дело сотворил? Но Сашка у меня парень умный, те пятнадцать суток не только мне простил, а даже сказал, что случись с ним такое, он бы убил Кудрявинцева. Потому что не может добро жить рядом со злом.

— Может,— и даже запросто, Вася. Чаще люди творят зло, не ведая о том, что они творят.

— Пусть так. Но я доскажу. Комсомолятам я прощаю. Они по недомыслию убили косулю, а вот Кудрявинцеву — никогда. Тот прошел все: и фронт, и плен, и муки... Э, что говорить, запутался я, корреспондент...

— Не волнуйся. Расскажи, как дело было.

— Так и было. Оказался я в деревне. Ночевал у дружка. С вечера посидели и пораньше легли спать, чтобы мне поутру двинуть дальше. Чуть свет я вышел к машине, чтобы разогреть мотор. Услышал лай. А потом увидел, как загнанный козел влетел во двор тому Кудрявинцеву, с ходу

на поленницу дров — и отбивается копытами от наседающих псов. Не успел я сообразить, что к чему, из дома в подштанниках выскочил Кудрявинцев. Я еще подумал: человек отгонит псов, закроет козла в сарай и спасет. Иду не спеша ему на помощь. Но Кудрявинцев подскочил к козлу, сдернул его с поленницы и тут же всадил ему нож под ребра.

Дальше я мало что помню. В глазах потемнело, все закружилось. Был я, видно, на душевном пределе. Железо и то устает. Подлетел я к Кудрявинцеву, выбил из рук нож, ударил по морде и пошел волтузить, бил и лежачего и стоячего, пока меня не оттащили соседи. Сбежался народ. Пришел врач. Кудрявинцева в медпункт, меня в милицию. Там я рассказал, как было. Все записали. В камеру сунули. Думаю: «И мне пару лет корячиться». Но обошлось, просто приписали мне психический взрыв, дали пятнадцать суток. Чистил тротуары, и все это на глазах сына, Сашки, народа. Хотя все считали, что я прав, что мне, вместо пятнадцати суток, надо бы благодарность вынести. Но нет у нас такого закона, чтобы «волка» избивать, его надо воспитывать, уговаривать. Из подлеца делать человека. Нет, не верю я такому, чтобы сволочь стал человеком. Такое бывает только в книжках. Просто Кудрявинцев родился со сволочинкой. После него теперь я ни одному трепачу не верю.

— Сложный ты человек, Пронин. Нельзя же из одного случая делать вывод о человеке. И в то же время правильный. У меня тоже руки порой чешутся, чтобы набить морду подлецу, но я должен с ним говорить в минорных тонах, воспитывать. Противно. Сам видишь, сколько я бумаги извел, чтобы внушить людям, что плохо мы еще хозяйствуем в нашей тайге. И не я один писал. Сотни людей забили тревогу. Теперь вот и закон об охране природы принят... Однако больше тебе не советую избивать человека из-за одного козла.

— Ведь я Кудрявинцева бил не за козла, а за потерю душевности, за то, что он обокрал меня, обманул. Никто этого не хочет понять. А жаль. Все называют меня ребенком, чудаком и даже дураком. А так ли это?

— Нет, конечно. Просто иные растеряли свою душевность на длинных дорогах жизни, а те, кто только вышел на эту дорогу, не успел ее обрести. Ведь не каждый слушал сказки деда Исая, не каждый пытался ответить на его вопросы: «Что самое чистое на земле? А вот и не знаешь, вот

и не знаешь. Росы, росы самое чистое на земле. А что есть истина?»

— Истина — это чтобы на всю жизнь оставить в себе душу ребенка, его доброту уберечь,— ответил Пронин.

Мы вышли из машины. Вокруг тишина, теплынь и рокот Имана. Впереди дыбился Сихотэ-Алинь. Неспешно брела ночь, крутились туманы. Где-то кричала ночная птица, кричала протяжно и тоскливо, будто о ком-то плакала. Звала искать утерянное и позабытое.

Мокрые снеги

С тех пор прошло двадцать лет. Но я все вижу ключ Ноли, крутобокие сопки, на которых стеной стояли кедры, ели, пихты, гущара чернолесья с непролазным подлеском. И будто я иду по тайге под снегом и дождем. Усталый продираюсь через чащу к избушке. Она стояла под сопкой, у родничка. Это было зимовье охотников и шишкарей. Той избушки, наверное, уже нет, сгнила. Она еще в ту пору стояла с прогнутой крышей. И мне всегда казалось, что зимовье, словно живое, смотрело на мир мутными стеклами, усталое и безразличное. Будто хотело сказать: «Эх, люди, люди! Мельтешите, бродите по тайге, мерзнете. А зачем? Мне вот, старой, на все наплевать. Живу дремотно и спокойно. Грею вас...»

Вокруг избушки всегда были разбросаны решета, в которых просеивали орехи. Кучи шелухи от шишек. Поленья. Бревна. Потертые рукавицы. Перья от рябчиков. Облезлые шкуры добытых изюбрей, косуль.

Я чувствовал во всем этом какую-то обжитость, уют. И еще больше любил старую избушку. Не умерла, не брошена. Я много ночей провел под ее крышей. Много дум передумал.

Война закончилась. Шел 1947 год. Трудный и голодный год. Поэтому думать мне пока об учебе, о смене профессии было рано. Надо было бродить по тайге, добывать мясо для семьи. Апрель шел к концу. Пора было выходить домой, но меня словно злой рок преследовал. Одно невезенье за другим. Выследил кабана. Он стоял за кустом багульника. Слушал тишину. Я не стал ждать, когда он выйдет из-за куста, выстрелил через куст. Надеялся, что пуля прошьет куст. Но она дала рикошет. Зверь сорвался и пошел махать с одной сопки на другую. Преследовать его было бесполезно. Ночевал на берегу ключа. Было холодно и сыро. Но нодья[1] спасала. Утром набрел на след изюбра. Следил не спеша. Догпал. Он стоял под елью, повернув голову в мою сторону. Повалил снежок. Он и вовсе приглушил

[1] **Нодья** — вид костра.

мои шаги. Я выстрелил. Ранил зверя. Но он убежал от меня за сопку. Догнал свой трофей. Но мне достались клочья шерсти и кости — волки съели.

Пять дней прошло впустую. Оголодал. Ослаб. Поэтому и спешил к избушке, чтобы передохнуть. Дорогой добыл трех рябчиков. Ими и перекушу.

Шел. Снег начал валить еще гуще, потом полил дождь. От ветра гудела, трещала и стонала тайга. До зимовья не дотянул. Ночь застала. Ночевал под выворотнем, в затишье. А утром снова пошел к желанному зимовью. Еще сбил двух рябчиков.

И вот с зимовья дохнуло дымком. Я прибавил шаг. Заспешил к людям. Хоть поделюсь с ними неудачами, на душе станет легче. Ржаво скрипнула дверь. На меня пахнуло теплом и обжитостью. Но людей в избушке не было. Ушли. Но куда и почему они ушли в такую непогодь? Ведь отсюда до любого жилья тридцать верст с гаком. На нарах валялось сено. Я по вмятинам в сене насчитал три лежки. На окнах лежали засмоленные рукавицы. Печка была теплой. Там шаяли три полена.

— Ну и ну! — покачал я головой.— Тоже мне таежники! Замерзнут, дураки!

В избушке было темно. Я шагнул к окну, под ногами загремел котелок. Я нагнулся и поднял его. Сразу узнал, кто его хозяин. Им мог быть только Шмага. Несобранный и смешливый мальчишка. Котелок его всегда был немыт. Помят. Значит, здесь шишковали Гошка, Васька и Шмага. Я познакомился с этими мальчишками три года назад. Познакомился и сдружился при трагических обстоятельствах.

* * *

Мы с дедом Петрованом белковали по речке Бурумбаве. Там стояло и наше зимовье, которое мы срубили еще летом. Был урожайный год на шишку,— значит, и белке быть. И она пришла. Наши выстрелы ухали до вечера, а потом мы сходились в зимовье. Здесь до полуночи заряжали патроны, свежевали тушки, сбивали со шкурок мездру. В день добывали по десять и двадцать белок. Тайга не обижала трофеями.

Когда забуянил январский мороз, белка в такие дни пасется час-два, Петрован не вернулся с охоты. Я его ждал долго. С вечера начал стрелять. Может быть, заблудился?

Палил в небо всю ночь, примерно через каждые полчаса. Но Петрован не возвращался.

Утром я побрел по его следам. До полудня распутывал следы. Они привели меня к берлоге. По следам, как по книге, я прочитал все: Петрован нашел берлогу, которая была вырыта под елью. Осмотрел ее. Потоптался. Повернул к зимовью, чтобы вместе со мной добыть зверя. Но не успел он сделать и пяти шагов, медведь выскочил из берлоги и прыгнул охотнику на спину. Завязалась борьба. Петрован ножом ранил медведя. Но, видно, не смертельно. Зверь отнес убитого охотника от места схватки на двести шагов и завалил валежником и камнями. Но Петрован был еще жив. Он пытался выбраться из завала. Это я понял потому, что руки его торчали над завалом, будто молили небо помочь ему. Медведь ушел. К своей добыче он больше не подходил.

Я побежал в поселок. Тридцать пять верст отмахал за полдня. В поссовете я рассказал о гибели охотника. Председатель спокойно выслушал мой рассказ, вяло проговорил:

— Ну и что? Сейчас гибнут тысячи. Знать, еще один погиб. Есть у него родня?

— Нет. Старуха умерла два года назад. Два сына на фронте. Больше никого нет.

— Вот тебе двести рублей, вырой могилу и похорони старика там, где он погиб. Некому его вывозить из тайги и не на чем.

— Но ведь он всю жизнь добывал пушного зверя. У него есть орден. Он герой.

— Сейчас все герои. И какая разница, где быть похороненным? Осталась бы память в душе, люди бы не забыли. Иди. Не мешкай.

Я переночевал дома и снова ушел в тайгу. Костром таял землю, рыл могилу. Три дня рыл. Все время боялся, что придет медведь и задавит меня. Обошлось. Утром ушел хоронить деда Петрована. Убрал завал. Позади услышал чьи-то шаги. Обернулся. Схватил ружье. Но тут же поставил его к пню. Ко мне шли мальчишки. Три чижика, как я их назвал тут же. В ватниках, в ичигах, озябшие, они собирали на снегу кедровые шишки. Увидели меня, подошли. Назвались. Без слов начали помогать мне хоронить старика. Похоронили. После всего я им сказал:

— Далеко от зимовья не отходите, здесь бродит шатун,

Это он убил деда Петрована. Уходите отсюда. Я пойду добуду мяса.

К вечеру я вернулся с добытой косулей. Их на марях водилось великое множество. Когда я приволок косулю и сказал ребятам, чтобы они ее свежевали, Васька удивился:

— А зачем мы ее будем обдирать? Ведь это ваша косуля.

— Как моя? — не понял я Ваську.

— Вы ее добыли, вам ее и есть.

— Во чудило! Свежуйте, и варить будем хлебово. Наша косуля, для всех.

— А ты не жадный,— буркнул Васька и начал снимать шкуру с задней ноги у косули.

Потом мы сытые лежали на нарах. Я им рассказал про гибель Петрована, про себя. Они тоже поведали мне о себе.

Гошка был за главного в этой ватаге. Жил он с матерью, с сестренкой Ленкой — голые коленки. Голодно жили.

— Вот и выкручиваемся, как можем. Но орешки — дело прибыльное. Десять рублей стакан. А сколько ты зарабатываешь на белке?

— По тридцать рублей день обходится.

— Будешь с нами шишковать? Три стакана — и весь твой день. За четыре дня мы даже на снегу наберем двести стаканов. Вот и считай. Кончай, берем тебя в свою компашку. Будешь главным.

Васька среди этих мальчишек был богачом. Его отец работал путевым обходчиком, мать продавцом в магазине.

— Сорвали они мне учебу,— стонал Васька.— Погнали в тайгу. Отец говорит, что с четырьмя классами пристроит путевым обходчиком. Наука несложная. А я учиться хочу.

— Взяли мы его с собой. Его мамаша, когда-никогда нам подбросит лишнюю булку,— усмехнулся Гошка.— Так бы не взяли. Сам он жаднюга, весь в отца!..

Шмага тоже жил с матерью. Брат у него на войне. Сестренка работала в леспромхозе пильщицей. Мать — уборщицей на вокзале. Но они зарабатывали в месяц столько, сколько Шмага за два дня.

Я остался шишковать. Хотя жаль было бросать охоту.

— Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше,— уговаривал меня Гошка.

Я для них был выгодным человеком. Ружье, могу мяса добыть. А потом, со мной не так опасно бродить по тайге.

Мы выносили намолоченные орехи домой на своих горбах. На санках по тропе не проедешь. Увозили их в города, продавали на шумных базарах.

* * *

Не зря прилипла к Никите Бережному кличка Шмага. Он был врожденный артист. Находчивый, смешливый, вдруг перевоплощался в забитого судьбой мальчишку, начинал гнусавить:

— Люди добрые, подайте, Христа ради, бедной сиротинке! С голоду умираю. Три дни не было во рту маковой росинки. Не пимши, не емши. Подайте, Христа ради!

В его шапку сыпались медяки, рублевки и даже десятки. Жалкий вид Шмаги растоплял сердца. И тут же... Шмага начинал продавать орехи. Они у него шли нарасхват. Едва успевал черпать из мешка стаканами. Нас стороной обходили, будто наши орехи хуже. То они прожарены не так, как у того мальца, то много пустых. Жарили в одной печи, собирали под теми же кедрами.

— Орешки каленные, из Питера привезенные! Налетай — подешевело. Расхватали — не берут! Эй, дед сто лет, подходи, мои орешки в самый раз на ваши зубки, мягонькие, можно не щелкамши глотать. Мои орешки щелкать, что белый хлеб жевать,— звенел его голос над запаренным от мороза базаром.

У Шмаги большой карман, который мы пришили па фуфайку. Он совал туда деньги. Но мы видели, что Шмага нет-нет да и сжульничает. То наберет не полный стакан, то сдачу сдаст меньше. Рядом крик:

— Мальчик, мальчик, ты мне пятерку недодал!

— Да провалиться мне на месте, вот те крест,— широко крестился Шмага.— Да я, я честный купец, обманывать вас не буду. Люди добрые, скажите ей, что я честный! Пошарьте по своим карманам. Ага, вона торчит ваша пятерка. Ай-ай-ай, опозорили меня!

— Стыдно, дамочка, стыдно, они для нас стараются, а вы за пятерку шум подняли. Проходите!

— Не мешкайте!

— Ишь, мальцов трогать! Не позволим! — кричали вразнобой покупатели.

То, что Шмага хотел обжулить покупательницу, точно. Но как успел он ей засунуть ту пятерку в карман, не успевали заметить. Шмага говорил:

— Ловкость рук и никакого мошенства.

Шмага выходил чистеньким из воды, около него собиралась очередь. Орехи шли нарасхват.

Был Шмага карманным вором. На базаре он залез в карман Гошке. Тот поймал его за ручонку. Шмага начал вырываться. Но Гошка спокойно сказал: «Не брыкайся! Не то бить буду!» — «А разве ты не будешь бить?» — спросил Шмага. «Не буду. Ты ведь из нашего поселка. Пошли, поедим. Потолкуем». Они ели хлеб в уголке базара. Гошка говорил: «Завтра я ухожу в тайгу с Васькой. Мы там собираем орехи. Неделя — вот тебе две тысячи рублев. Из карманов столько не наберешь».— «А если я не пойду, если мне здесь весело?» — «Бить буду. Вот поем и всю харю расквашу! Мне мама рассказывала про твоего отца. Даже просила тебя словить. Словил. Великий был человек твой отец. А кто ты? Он Советскую власть защищал, а ты? Ты вор. Он погиб в тюрьме, донесли на него сволочи. Он погиб, как герой, а ты погибнешь, как вшивота воровская. Все. Пошли. Завтра в тайгу...»

И Шмага пошел в тайгу. Поверил мудрому Гошке. Потом полюбились ему ночи у костров, толкотня на базарах, езда зайцами на поездах. Конечно, Шмага шишкарь был аховый. Если Гошка и Васька набирали мешок шишек, то Шмага полмешка. Но на базарах Шмага успевал продать свою ношу и ноши друзей. Там он был незаменим...

Продав орехи, мы шли на полянку, высыпали деньги в кучу и подсчитывали барыш. Потом все делили поровну. У Шмаги, как всегда, было рублей на сто больше, чем у нас. Гошка ворчал:

— Зачем обманываешь?

— И ничуть! Наши орехи дороже стоят! Много дороже. Я лишь свое беру. Ведь вся эта орава — барыги и спекулянты. Рабочий не станет тратить деньги на орехи, баловством заниматься.

— Ладно, прощаем, но чтобы больше такого не было,— бросал Гошка.

Но Шмага, приняв прощение, через неделю делал то же.

Бывало, Гошка вздохнет и скажет:

— Эх, Шмага, тебе бы в артисты податься. Ты ведь и правда без вины — виноватый. Сыграл бы киношного Шмагу, и не хуже.

— В артисты,— вдруг сникал Шмага.— Хватит и того, что я комик в жизни. Хватит, Гошка, не нуди душу. В ар-

тисты, а может быть, я хочу быть шофером? А? Всю землю на машине объехать! Не буду артистом. Все это невсамделишное. Я хочу всамделишного.

И все же Шмаге пришлось быть артистом. Поехали мы на север. Стронлась Ургальская железная дорога. Решили туда завезти табак. В цене он там был. Здесь купить — по десять рублей стакан, а там продать — по тридцать. Подговорили шофера, который спрятал нас за мешками с мукой. Провез через заградительный пост. Приехали мы в Тырму утром. Приехали и испугались,— там были военные и заключенные. Уголовники, дезертиры и разная шушера. Но те и другие отнеслись к нам хорошо. Ведь многие из заключенных были на воле.

Табак мы вмиг распродали. Набили полные карманы деньгами и готовы были удирать. А тут на наши головы свалился милиционер.

— Тэ-эк,— протянул он.— Как вы сюда попали? Беспризорные? А ну пошли со мной, разберемся, чьи и откуда.

— Дяденька,— взмолился Шмага,— не беспризорные мы, а бродячие артисты. Не трогай нас, дяденька.

— Артисты! Ха-ха-ха! Пошли, артисты, за мной!

Нас окружили заключенные. Зашумели:

— Ну чего пристал к мальчишкам. Сказали вам, что они артисты, верить надо!

— Не трогать! Пусть покажут нам сценки, песни споют!

— Прочь!

Милиционер подался назад. Нас взяли в плотное кольцо. И Шмага запел. Он часто пел у костров, в зимовье. Но так, как запел тогда,— у нас мороз прошел по спинам. Как он пел! А пел он сурковскую: «Бьется в дымной печурке огонь». Так может петь, наверное, только тот человек, который знает, что его эта песня спасет. Была ранняя весна. На заборах и ветвях лиственниц лежал густой иней. Помню, что было солнечно, легкие облачка плыли по небу. Часовые на вышках. И эти, «вольные». Невдалеке остановилась колонна заключенных. Они шли на работу. Но остановились, чтобы послушать песню. Конвоиры на них не кричали. Все слушали. В глазах тоска и одиночество. Замерли люди, будто боялись спугнуть песню. Шмага пел. Пел сочным, чистым голосом. А когда он спел песню, стало слышно, как осыпался с веток иней. Потом в этой тишине взвился крик:

— Заткните им глотки! — но крик тут же оборвался, крикуну заткнули рот.

Потом мы запели: «Вставай, страна огромная». Пели дружно, емко. Особенно нажимали на слова: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна...» И черт подери, эту песню подхватили все: заключенные, военные, даже тот милиционер пел. Это был мощный хор, хор под чистым небом. Иней посыпался с деревьев и заборов, качнулись облака. Оборвался тысячный рев мощного хора. Шмага запел симоновскую: «Ты меня ждешь». Я видел, как эти заматеревшие люди, может быть и убийцы, вытирали слезы. От этого рты у многих перекосились, дышали все часто. Шмага медленно двинулся на толпу с песней. Мы пошли за ним следом. Толпа раздалась, мы прошли по людскому коридору и вышли на дорогу. Все. Бежать надо. Но мы не побежали, хотя нам вслед раздались бурные аплодисменты, крики, злое улюлюканье.

Отошли далеко, и тут Шмага заплакал, всхлипывая, говорил:

— Я тоже мог быть среди них. Мог. Спасибо, Гошка!

— Ладно, оставь свои телячьи слезы. Пошли машину проголосуем.

— Мне их жалко.

— Зря не посадят. Не плачь!

Шофер остановил машину, закричал:

— Эй, бродяжки, садитесь! С ветерком прокачу! За песни прокачу! Ну, живо!

Вечером приехали на материк. Материком у нас называют железную дорогу. А глубинка — это вроде другая земля.

* * *

На другую зиму умерла Гошкина мама. Мы вернулись из тайги, сразу попали на похороны. Пузатая лошаденка тянула сани в гору. На санях стоял гроб с телом Гошкиной мамы, Лукерьи Дробиной. За санями шли пяток старушек и мы. Позади нас ковылял на деревянной ноге лекарь дед Максим и, сильно раздувая щеки, дул в баритон. Милиционер Клочин что есть силы бил по большому барабану, гремел тарелками. Вот и весь оркестр.

Клочин и дядя Максим в революцию служили в музвзводе. Они будто бы помогали даже в бою. Идет бой, а наши музыканты шпарят марш. Бодрят бойцов, пугают

беляков. «Потому, мол, мы и побеждали, что музыка была рядом. Без музыки много не навоюешь», — хвастал, бывало, дед Максим.

Похороны в нашем поселке были делом частым, но с трубой и барабаном — впервые. От завывания единственного баритона было как-то грустно и печально. Клочин отговаривал деда Максима не валять дурака.

— Баритон и барабан... Рази это оркестр?

— Для Лукерьи я на одном баритоне сыграю за весь оркестр. Так сыграю, что люди слезой изойдут. Да и ты на своем грохоте постарайся.

По рассказам деда Максима, Лукерья была санитаркой в их полку. И того же Клочина вынесла однажды с поля боя, когда беляки прорвались к оркестру и половину музыкантов вырубили.

— Понял, Клочин? Ты через Лукерью, нашу Лушеньку, живешь лишних двадцать три года.

И они старались.

Гошка еще не мог осознать, что нет его мамы, что он остался один со своей сопливой Ленкой. Сидел на санках и обнимал Ленку. Не плакал. Может быть, мы, дети, взращенные войной, плакать разучились. Шмага, тому простительно, артист — душа ранимая.

После похорон собрались помянуть усопшую Лукерью. Помянули. Старушки ушли. Дело свое сделали. Клочин сел на табуретку и сказал:

— Собирайтесь в детдом. Завтра в район вас свезу, и поехали.

— В детдом они не поедут, — заявил я. — Мы их не оставим.

— Ты откель такой прыткий нашелся? Ты кто им — отец, мать?

— Человек! В детдом не поедут. Ленка будет жить у нас, мы — промышлять тайгой.

— А как потянет вас воровать? Кто будет в ответе?

— Воровать мы не будем, — резко и твердо говорил я. — Мы не из таковских.

— Ленка будет жить у меня, — сказал дед Максим. — В детдом они не поедут.

— Вы что, сговорились? — загремел Клочин. — Не позволю! Пропадут! — привычно тронул кобуру, которая всегда была пустой. Наган с собой не носил. Его не боялись, и он никого не боялся. Его любили наши люди. Клочин за первый проступок никогда не заводил дело. Но если

человек не унимался, будь то самое мелкое преступление, отправлял в тюрьму: «Посиди на казенных харчишках, охолонь, может, поймешь мою душевность. Поехали. Был упрежден — хватит», — говорил Клочин и увозил человека.

— Дураки, вас будут учить, одевать. Ленку скоро надо отдавать в школу.

— Ладно, отдадим и в школу.

— Одним жить на белом свете, — тянул Клочин.

— Ты чего это заладил: «одни», «одни»... А мы рази ж им никто?

— Считай меня, Гошка, твоим братом, согласен? — сказал Шмага.

— Согласен. Папа должен вернуться с фронта. Не одни мы, дядя Серега.

— Ну ин ладно, ладно, говорю, так и быть, — обрадовался Клочин. — Значит, не одни. Я думал, одни. Хорошо, хорошо, говорю. Но цыц! Жить честно, ровно, без драк и воровства.

— Я присмотрю.

— Знамо, присмотришь, однополчане, я тоже не без глаз. Но ты смотри, Максим, замечу, ежли будешь хлеб с пекарни таскать этим соплякам, заарестую! Не посмотрю, что хром и фронтовик! Тюряга, сразу — тюряга! — сердито встопорщил усы Клочин. Он их для вида топорщил, чтобы его чуть боялись. Не посадит он деда Максима. Бывало, подопьют — и оба плачут, убитых вспоминают, целуются.

— Не шуми, Пролыч, не шуми. Так я тебе и покажусь с теми булками. Дурака нашел! Пронесу ту булку под твоим носом, и не заметишь. Ить не заметишь? А?

— Ты жулик старый, на припеке будешь выезжать. Лишку водички подливать в тесто... В гражданскую халтурил, все брал вторые партии баритона, здесь то же будешь делать.

— Молчи, ты немного на своем барабане надорвался. Тоже на припеке ехал.

— Ладно, я тебя и их упредил! Поехал! — Клочин лихо подмигнул нам, вывалился за дверь.

— Все, ушел, халтурщик! — заворчал дед Максим. — Значит, так, вы снова в тайгу. Ленку я заберу к себе. Носы не вешать. Я тоже пошел, а вы тут ночуйте, чтобы им не было скушно. Баста! Все!

* * *

Я увел мальчишек в Ноли. Там шишек было много. Но не всегда мы ночевали в зимовье. Чаще там, где была шишка. Разводили огромный костер, который горел весь день, земля прогревалась, вечером убирали пожог, угли, наверх бросали лапник, накрывались палаткой и спали в лютые морозы, как на печи. Заходили за тридцать и сорок верст. Собирали шишки на снегу, лазили на деревья, рискуя сорваться и сломать шею. Для того чтобы набрать двести стаканов орехов, надо было собрать три мешка шишек, обмолотить их, просеять, провеять на ветру...

Однажды к нам забрел охотник. Назвался Филиппом. Старик. Присел к костру. Мы пили чай. Пригласили его. Он достал кусок вяленого мяса, поделился с нами. Поели. Филипп начал:

— Для ча война? Не для ча. Что она сделала с вами? Не знаете. Она вас убила!

— Чего это убила? Живы мы.

— Вы-то живы, а душа уже убита. Украли у тебя душу-те! Хап — и петути. Мечту украли. А когда будет новая — воды много утечет. Ой, много! Но война — дело нужное, пользительное.

— Ты, деда, нам такое не говори, — возмутился Гошша. — Как может быть война пользительной? Сколько людей погибло! Сколько здесь умерло!

— Пользительное дело-те — война. Ага. Была империалистическая, сам там варился, революцию свершили.

— А при чем эта?

— При том, что и эта война родить революцию. Встряхнет вас, вы почнете думать, что и как. Мы ить хотели кого-то криком запугать, шапками закидать — не вышло. Другорядь будете осторожнее. Вас шибанула одним концом, из детей иделала — стариков. На пяток лет назад откинула. Сдюжите. Потом злее будете. Социализма — дело хорошее, но к той социализме надыть хорошую голову имать...

— Знаете, деда Филипп, мы донесем Клочину, — взвизгнул тонким голоском Гошка.

— Пролычу-то. Говорите. Я ему тоже говорил...

— Ты, дед, ты... — поднялся я.

— Дурачок! Год-два, и я сам скапустюсь.

— Ты из кулаков, да? — пытал я.

— Да, из кулаков. Жил богато. Шибко жил. В нэпу вознесся — дальше некуда. Потом нас стебанули, все полетело кувырком. Сдал я свое добро в колхоз, а сам по миру пошел. Живу и не тужу. Только поспешили вы ту нэпу расстегать, могли на нас, дураках, такую Расею отгрохать, лучше некуда. Германия и Америка были ба далеко позади.

— Ты, дед Филипп, — враг народа, — встал рядом со мной Шмага.

— Может, и враг. Я ить себе дажить враг.

— Мы тебя должны арестовать, — поднял я свою бердану.

— Не про ча. От меня вреда мало. Может, вредность есть, так от нее Расее беды немного.

— И арестуем.

— Не суетитесь, я пришел и ушел, а вы думайте.

Дед Филипп тяжело поднялся и пошел от нашего костра. А мы думали. А когда придумать ничего не могли, ругали деда Филиппа, войну и фашистов.

* * *

Все это вспомнилось, я забеспокоился. Надо догонять друзей и спасать. Я был страшно усталым, больным, но знал, что они не дойдут до дому. Зачем я оставил их? Не надо было уходить из ватаги. Ушел я потому, что мы почти умирали с голоду. Ушел, чтобы спасти семью. Орехи давали деньги, но они уже не кормили. На те деньги ничего нельзя было купить. Магазины пусты, базары безлюдны.

Я понимал, что у мальчишек что-то случилось. Так бы они не рискнули выходить в непогодь, слякоть.

Вспомнились слова Шмаги: «Человек не тот, кто называет себя человеком, а тот, кто подает тебе руку. Филипп — добренький старик, мясо на всех разделил, но он недобрый, злой человек. Добренький показывает свою доброту, а добрый — дарит».

Однажды мы забрели в поисках шишек на речку Дитур. Там жил охотник Дорин. Мы зашли в его дом, попросились на ночлег. Пустил. Начал елейным голосом жалеть нас:

— Носит вас в такую даль. Карает бог нас за грехи тяжкие. Карает. Наказует грешников. Отреклись от него. Ну да ладно, спите.

В доме пахло вареной изюбриной, печеным хлебом. Мы хотели есть. Жадно тянули в себя хлебный дух. Но нас не накормили. Не спалось. Утром мы ушли в тайгу. Встали на привал. Шмага достал из своей котомки две булки хлеба, сказал:

— Наказал бог грешника. Добренький человек не должен нас осудить. Давайте наедимся досыта.

Но тот добренький нашел нас. Бросился искать в котомках, грозил перестрелять всех. И, наверное, перестрелял бы, если бы у меня не было в руках берданы, которую я держал наизготовке.

...Я торопил огонь, прикидывал: далеко ли ушли друзья? Нагружены они тяжело — это видно по следам на тропе. Надо скорее варить рябчиков, поесть и догонять. Погибнут! Мясо не доварилось. Ем полусырое, рву зубами, глотаю. Главное, набить желудок, дать ему работу. Я боялся за ребят. Но сам забыл, что и мне придется идти через эту сумятицу. Могу тоже замерзнуть. Правда, в такую погоду легко добыть зверя. Не лежит он, бродит. Ну и ладно. О зверях будем думать потом, надо спасать-выручать друзей.

Поел. Фуфайка не успела просохнуть. Ладно. Бросил за плечи пустую котомку, ружье и пошел. В лицо бил мокрый снег, ветер. Остановился. Уныло посмотрел на зимовье, там тепло, там сухо. Заныли застуженные ноги, зябко стало телу. Избушка манила назад кудреватым дымом из трубы, подмигивала заплаканными окнами. Я показал избушке кулак и бодро пошагал по тропе.

Следы шишкарей припорошило. Вижу, что вначале они шли след в след, ровно, потом начали петлять, каждый выбирал на тропе место посуше. Спешу во всю силу. Не смогут они пройти через вздыбленную тайгу. Не смогут! На плечах тяжелые ноши, каждая по два пуда. И, наверное, голодны. Ветер рвал и тряс мокрые сучья.

Вспомнилось, как однажды мы ехали зайцами в тамбуре товарного вагона. Сбоку бил мокрый снег. Поезд мчался как ошалелый, минуя одну станцию за другой. Мы промокли, начали замерзать. Совсем закоченели. Я затеял борьбу, потом мы тузили друг друга, чуть отошли. Прибыл поезд в Биру. Здесь нас сняли милиционеры. Завели в участок. Начались допросы: кто такие, почему ездим на товарных поездах?

— Потому что для нас не хватило местов в мягком вагоне,— выпалил Шмага.— Как ни просили кассиршу —

не продала. Поехали в плацкарте. Холодновато, но ездить можно.

— Ты кто такой? Ишь, весельчак. В кутузку спроважу,— зашумел милиционер.

— Можно и в кутузку. Это уже будет вагон международного класса. Не бывал я там, а хотелось бы.

— Головатый, щенок. Не из воров ли?

— Честный трудяга.

— Отпустите нас,— сказал Гошка.— Мы ездили продавать орехи. Не воры мы.

— Так и быть, отпущу. Но вы только обогрейтесь. Посажу на другой товарняк...

Как же Гошка пошел на такое? Ведь он умнейший парень! Великий человек! Тайгарь. У него нашелся отец. Скоро приедет домой. А он погибнет перед самым приездом отца. А потом Ленка. Она так любит Гошку, что обсказать трудно. Придет он из тайги, она к нему. Целует, обнимает, помогает раздеться. И щебечет, и щебечет.

Я через снеги и тайгу вижу Гошку. Он идет впереди, упрямо набычив голову. Идет навстречу снегу и ветру. У Гошки суровая складка на лбу. Такие складки нам наложила война. У него в глазах тревога. Тревога, что не смогут выйти, тревога, как там Ленка. Хотя она живет у деда Максима, учится хорошо и, конечно, ждет Гошку.

Тревожится и Шмага, хотя он свою тревогу скрывает легко. Ведь Шмага — артист. Но в то же время он кормилец семьи. Ему надо во что бы то ни стало дойти до дому.

Другое дело Васька. Он ненавидит отца. Ненавидит эти хождения по тайге. Ходит с нами по принуждению. Но и он хочет жить.

Ваську мы щадили, всегда щадили. Мы жалели его больше, чем себя. Мы знали, на что идем и зачем идем. Васька же не знал и не понимал, для чего он ходит в тайгу, зачем ему деньги? Гнал жлобина отец — шел. Костыль можно забить и с четырьмя классами. Васька давно озлобился. Он мечтал быть летчиком, но отец давно выбрал ему специальность. Мы пока еще не знали, кем будем. Жизнь покажет, поставит на тропу...

Догнать, надо скорее догнать. Больше всего я боялся за Шмагу. Он сдаст первым. Раньше, в своих походах, мы ставили Шмагу в середину, чтобы не отставал, тянулся бы между нами. На тропах он был невыносим, часто хныкал, просил, чтобы присели передохнуть. Губы у него отвисали, как у старой лошади. Глаза тупели. Как он там сейчас?

Мы орали на Шмагу, что, мол, он рохля, что он слабак. Шмага нам отвечал:

— Все так. Не люблю я быть быком в ярме. Лучше ехать на санях. Устал я, ребята. Устал ходить. Ну сколько можно? Вот хочу расслабить тело и лежать, лежать, лежать. Три года ходим. Ужас, как это надоело.

Прав Шмага. Все надоело, тело просит отдыха. Ломота в костях. Болят плечи, их натерли лямки. Болит спина от переноски тяжестей. Отдохнуть бы. Мы того заслужили. Без груза по полста верст в день проходили, а с грузом — по тридцать. Ишаки, те, наверное, столько не смогли бы пройти, а мы проходили. Продавали орехи и снова брели по тропам.

Ветер набирал силу. Мокрый снег повалил гуще. Тайга гудела и стонала. Я спугнул рябчиков. Двух добыл. Мальчишек подкормлю. И еще надеялся, что они услышат мои выстрелы, подождут. Но в таком гуле тайги, стоне ветра выстрелы тут же замерли. Я шел уже два часа. Следы стали свежее. Вот Васькин след, у него стоптаны ичиги, на подошве заплата. Он трижды падал. Около него топтался Гошка. У Гошки японские ботинки с шипами. Шмага прошел мимо них в своих кирзовых сапогах. Значит, дела у ребят плохи, если кто-то прошел мимо друга. Напрасная тревога. Васька, наверное, поскользнулся, снова пошли дальше. Иду четвертый час. У меня часы, моя гордость. Это японская штамповка. Идут они скверно, но все же идут.

Снова прочитал короткую повесть на снегу. Лежал Васька. Над ним стоял Гошка. Подрались. Нашел бусинки крови. Значит, Васька сдал первым. Не хочет идти. Но через сотню шагов увидел лежку Шмаги. Его тоже поднимал Гошка. Васька прошел мимо.

Но почему они не разводят костер? Только он может их спасти. Нет, вот они разводили костер, но у них отсырели спички. Черт! Отупели, наверное, от холода и голода. Пропадут!

Дальше шествие замыкал Гошка. Он шел с палкой. Может быть, опирался на нее, а может быть, гнал ребят. Но куда гнать? Ведь они прошли всего половину тропы. Не дойдут, хоть колоти их палкой. Хотя бы бросили свои котомки и шли бы налегке.

На лужайке мальчишки подрались. Гошка убегал от Шмаги и Васьки. Они напали на вожака и хотели побить. Здесь они бросили свои ноши и шли порожняком. Молод-

цы! Может быть, дотянут? А если я их догоню, то разведем костер — и все обойдется. У меня спички в железной банке, не отсыреют.

Мне жарко. Я почти бегу. Жарко от бега, жарко от страха за судьбы ребят, друзей. Они погибают, и нечего успокаивать себя. Догнать и спасти! Ноги скользили по тропе, разъезжались. Я тоже начал падать. Снег сменялся крупой. Она больно била в лицо, слепила глаза. Подул холодный ветер. Фуфайка и штаны начали обмерзать. Стало страшно за себя. Перед глазами все плыло. Остановился. Струсил. Спасовал. Сил больше нет. Развел костерок. Начал греться. Потянуло в сон. Но я сбросил с себя дрему, быстро распотрошил рябчика, сдернув с него шкуру с перьями, начал жарить на костре. Не столько изжарил, сколько сжег мясо, но все же перекусил. Силы чуть прибавилось.

Посинели руки. Замерз. Костер не может согреть. Но теперь я могу бежать. Есть силенка. Однако не сразу побежал. Трусил уходить от огня. Трусил. Ведь я был насквозь мокрый. У костра одежда оттаяла, от нее валил пар. Эх, обсушиться бы! Уснуть бы! И тут случилось со мной такое, что я сразу сбросил с себя сон, трусливость. Перед глазами вдруг встала мама, она будто спросила: «Ты испугался, сынок? Жить хочешь? А разве твои друзья не хотят? Или ты забыл слова деда — сам умирай, но друга не оставляй в беде. Если забыл, то вспомни! Погибнут они, кем же станешь ты? Убийцей, вот кем станешь ты! Я отрекусь от тебя, я прокляну тебя! Тебя проклянет и весь наш род. Трус! Знать, мало тебя учил добру дед, твой друг Арсе? Мало. Теперь меня послушай. Умри, но ребят спаси! Не спасешь, жить тебе в вечной маете душевной, в вечном изгнании родительском. Догоняй!»

Не знаю, то ли я заснул на секунду и это приснилось мне во сне, то ли мать приходила ко мне. Мать — суровая, но добрая женщина. Прошел страх перед морозом, смертью, тайгой. Я побежал дальше.

Тропа обогнула сопку, свернула в ключик. И тут, в десяти шагах от себя, я увидел три облепленные снегом фигурки. Это были они, мои мальчишки. Они лежали на снегу калачиками. Но тут я увидел и другое: над Гошкой возвышался бурый медведь! Он жадно обнюхивал его, тронул когтистой лапой, перевернул на спину, тихо рыкнул.

Сонливую усталость как рукой сняло. Я прижался к дереву, прицелился в голову зверю и плавно спустил

курок. Грохнул выстрел, зверь рухнул носом в снег. Готов! Я побежал к Гошке. На медведя не обращаю внимания. Трясу что есть силы Гошку, пытался поставить на ноги, но он не просыпался. Безвольно болтался из стороны в сторону. Я сунул руку под фуфайку, там было еще тепло, там билось сердце.

Рядом, задрав корни в небо, лежал кедровый выворотень. На корнях смолье. Достал топор, натесал смолья, добыл огонь. Огонь! Вот он запылал, охватил смоляные корни, стало тепло, стало не так страшно. Только огонь может их спасти. Огонь! Я приволок к огню Гошку. Положил его так, чтобы тепло падало на лицо, руки. Затем Шмагу, последним Ваську. Все они были живы, но спали. Спали предсмертным сном. Я мигом срубил пихту, насек сучьев и подложил лапник под бока мальчишек. Они чуть распрямились от тепла. Шмага улыбнулся во сне. Я начал будить Гошку. Тряс его за плечо, называл по имени, но все тщетно. Вспомнилось, как милиционер на вокзале приводил в чувство пьяного пассажира: он сильно тер ему уши. Тру и я Гошке уши. Гошка замычал, завозился, начал отбиваться от меня ногами и руками. Ожил. Порядок.

— Уйди, гад! Убью! Скотина, драться! — Я его ударил два раза по щекам.

Гошка сел, выхватил нож из ножен, но тут увидел меня, костер, почувствовал тепло, обмяк.

— Ты, Андрей? Ты с неба свалился?

— Нет, вас, дураков, догонял. Грей руки, грейся.

— Спать хочу.

— Потом будем спать, сейчас грейся!

Гошка послушно протянул руки к костру, но тут же отдернул и завыл от невыносимой боли. Руки начали отходить и заныли.

Я начал будить Шмагу. С ним я сделал проще: вначале потер его руки снегом, потом начал их греть. Шмага вначале сам протянул руки к теплу, но вскоре попытался их убрать. И вдруг он застонал, открыл глаза, затем поднялся, конечно, с большим усилием и заплакал:

— Ой, мамочка! Ой, как больно! Гад, что ты сделал с руками?

Ладно, думаю, реви, надо Ваську поднимать. Гошка скоро совсем пришел в себя и помогал мне приводить в чувство Ваську. Мы его трясли, били по щекам, терли уши, грели руки, наконец он открыл глаза. Долго и ошалело смотрел на костер, меня, тайгу, тихо спросил:

— Пришел? Я знал, что следом идешь. Я тебя во сне видел.

Я сходил к зверю, содрал кожу с задней ноги, отрубил мякоть, разрезал ее на куски и каждому приказал заваривать в своих котелках хлебово.

— Ты без котелка, Шмага? В моем заваривай. Вместе поедим,— сказал я.

— Ты по котелку узнал, что мы там были?

— По многому узнал, сердце подсказало, что вы сдури пошли в такую непогодь.

— Потому и пошли, что у нас какой-то гад украл все, даже соль. Остались голодными,— по-стариковски закончил Гошка.

— Поедим и будем сооружать навес. Спать будем здесь.

— Ты когда успел завалить медведя? — спросил Шмага.

— Тогда, когда он Гошку поворачивал на спину, чтобы потом зарыть его снегом, листвой и колодником завалить. Вот и шоркнул я его в башку. Сразу скапустился.

Жарко горел выворотень. Варилось мясо, мы обсыхали, мы приходили в себя. Потом долго ели медвежатину, улыбались друг другу, радовались, что снова все вместе.

Вспоминая сейчас все это, мне думается, почему после всего никто из нас серьезно не заболел? Обсушились, отдохнули и снова были готовы двигаться дальше. Но мы не пошли. Мы стали строить шалашик, готовить дрова на ночь. Зачем же бросать столько мяса, орехи. Отдохнем, переспим — и все само собой решится.

Работали дружно, споро. Через два часа был готов шалаш, дрова на ночь. Теперь мы могли забраться под крышу от снега и ветра, хорошо отдохнуть. На вешалках сушились фуфайки, портянки, штаны, а мы под навесом шутили, смеялись, снова спорили. Шмага был в своей роли.

— Лечу я прямехонько в небо.

— А может, душа? — поправляет Васька. Он любит точность.

— Пусть душа. В рай лыжи навострил. У ворот стоит дед Петро. Я говорю ему: «Отрок Никита прилетел в рай, не грешил еще, не пивал водки, принимай мученика».

«То, что ты не грешил, мне ведомо, а вот водки не пивал — это зря. Штука, надо сказать, весьма пользительная от простуды. Вот не пей я ее, треклятую, давно бы окостыжился. А так хватишь для сугрева — и стоишь себе на

вратах: праведников — в рай, грешников — в ад. Ишь какая погодка-то. Так-то. Вчерась мы гульнули изрядно. Все еще дрыхнут. Раненько ты прилетел. Ангелы и архангелы после на опохмелку пойдут. И судить тебя некому. А я без гумаги тебя не пропущу. У нас тоже есть свой закон и порядок. Потому катись отселева, пока проспятся наши...»

— Хватит, Шмага, ты с богом не очень шуткуй. Тятя говорит, что все идет от бога.

— Жлоб твой тятя. Сына на смерть посылает, а ты идешь. Ну мы ладно, а ты? — зашумел Гошка.— Утром будем думать, как быть дальше, как жить.

— Ладно, думай. Открываю я глаза и вместо деда Петра вижу Алешку. Вот обрадовался.

— Не о том, Шмага, говоришь. Надо думать о том, как нам жить дальше. Я вот не верю, что можно будет есть хлеб досыта. Не верю, и все тут. А если так будет, то я зараз съем три булки. Потом у меня будет сын, и если он не поверит, что я много лет был голодным, что хлеб был слаще меду, то выпорю варнака, и все тут,— перебил Шмагу Гошка.

— Зачем пороть-то, ты просто возьми его в тайгу на пару недель, хлеба в обрез,— и поживи с ним, помокни вот под этими дождями и снегами, все поймет,— тихо сказал я.

— От порки люди не умнеют. От порки они глупеют.

— Это верно, ходим мы с вами в обнимку со смертью, и мало кого такое тревожит, потому смерть — дело обычное, привыкли к ней люди,— уже другим голосом сказал Шмага.— Да, ко всему человек привыкает, даже будто бы к петле: пять минут побрыкаться, и привыкнет. Страшно, но факт...

Какие это были мудрые мальчишки-старики! Только что умирали на снегу, теперь острят, шумят. Будто ничего не случилось, будто в десяти шагах не лежал медведь...

К вечеру перестал валить снег, стих ветер. Мы освежевали медведя, прибрали мясо. Наелись допьяна и легли спать. Спали и жались друг к другу. Костер горел жарко и ровно, ведь для костра мы готовили ясень, березу, ильм... Ночь выдалась тихой и морозной. Таким же было утро.

Гошка едва открыл глаза, грустно сказал:

— А сегодня Первое мая!

— Неужели сегодня?

— Сегодня. Помню, мы с папой ходили на демонстра-

цию, он мне купил целый килограмм конфет, пряников.

— А ну заткнись! — взревел Шмага.— Нашел время о чем говорить. Замолчи!

— Ну, чего ты, Шмага, разошелся? — положил я руку на его вздрагивающее плечо.

— Мне никто ничего не покупал,— тихо уронил Шмага и заплакал.

— Ну, не куксись, дурачок. Купят, сам купишь.

— А мне неинтересно, чтобы я сам покупал. Я хочу, чтобы мне кто-то купил.

— Не плачь, Шмага, мне мой жлоб-отец тоже ничего еще не покупал.

— Нашли о чем говорить,— зашипел Гошка.— Я вам все куплю. Разве от друга принять подарок не захотите?

— Я больше в тайгу не пойду,— сказал Васька.— Хватит. Принесу эту ношу, брошу отцу и скажу: «Хватит!»

Туманное солнце выползало из-за сопок. Мы нагрузились орехами, мясом и пошли домой. Пришли. Дома я спросил маму:

— Ты приходила ко мне? Ну, в тайгу?

Мать пристально посмотрела мне в глаза.

— Ты же приходила, ругала, что струсил. Разве ты забыла?

— Ничего я не забыла. Я знаю одно, что ты никогда, никогда не струсишь. Дед и Арсе тебе дали хорошую закалку, верную показали тропу. Так иди же по ней, не петляй, как заяц. Пойду баню протоплю. Зови ребятишек-то. Вместе и попаритесь. Застудились до самого нутра.

Застудились, то верно. Ничего, согреемся...



Содержание

Повесть

Рассказы

Иван Ульянович Басаргин

АКИМЫЧ — ТАЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Редактор И. Краснобрыжий
Художник А. Ерасов
Художественный редактор Б. Мокин
Технические редакторы А. Сатарова и А. Третьякова
Корректоры Н. Попикова, Н. Саммур

Сдано в набор 20/VI—1972 г. Подписано к печати 13/X—1972 г. А09563. Формат бум. 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Печ. л. 6,5. Усл. печ. л. 10,92. Уч.-изд. л. 11,27. Тираж 100 000 экз. Зак. № 533 Цена 38 коп.

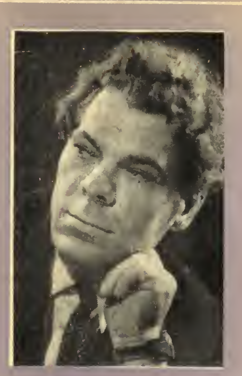
Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР, по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР, 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.



СОВРЕМЕННИК

38 коп.



Первая повесть Ивана Басаргина «Сказ о черном дьяволе» обратила на себя доброе внимание. Этой повестью автор как-то сразу заявил о себе, как талантливый писатель со своим видением мира, своей темой, героями. И Басаргин пишет в основном о тружениках Дальнего Востока.

В новой книге «Акимыч — таежный человек» главное место занимает одноименная повесть в новеллах. Жизнь Акимыча — это неустанная борьба за утверждение всего светлого и чистого на земле, в людях. Автор, создавая образ этого героя, наделил его прекрасными качествами человека наших дней.

Герои рассказов — люди самобытные, нелегкой судьбы. И это создает своеобразный колорит, динамику, благодаря которой книга читается с напряжением и интересом.

НОВИНКИ «СОВРЕМЕННИКА»